

В.Г.Короленко. Собрание сочинений. Том 2. Повести и рассказы //,
Москва, 1954
FB2: Ego <ego1978@mail.ru >, 2006-03-12, version 1.0
UUID: EGO-7858B23C8F-B0C4-468F-A4DD-CDB734D4C2D4
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Владимир Короленко

Братья Мендель

Содержание

I.....	.0004
БАСЯ И ЕЕ ВНУЧКА.....	0048
Отрывок из рукописи «МЕТАМОРФОЗА».....	.0128
ПРИМЕЧАНИЯ.....	.0133

Владимир Короленко

Братья Мендель

Рассказ моего знакомого

...Вы знаете, я родился и вырос в так называемой теперь «черте оседлости», и у меня были товарищи, скажу даже друзья детства — евреи, с которыми я учился.

Наш город был один из глухих городов «черты». В то время как в других местах и костюмы, и нравы еврейской среды уже сильно менялись, — у нас, несмотря на то, что еще не исчезла память о драконовских мерах прежнего начальства, резавшего пейсы и полы длинных кафтанов, — особенности еврейского костюма уцелели в полной неприкосновенности. Полицейские облавы прежних времен имели исключительно характер «фискальный». Еврейское общество платило, что следует, и после этого все опять шло по-старому.

Впрочем, я уже не помню этих облав. Прогресс брал свое: «фиск» принял менее дикие формы.

В нашем городе было несколько хедеров и одно еврейское ремесленное училище. Оно

было основано каким-то филантропом, уроженцем города, сделавшим карьеру в других местах, частью даже за границей. Он с сожалением смотрел на ту отсталость, в которой коснели евреи на его родине, и находил, что они слишком исключительно предаются торговле и мелкому гешефту. В талмуде говорится: почернеют лица у народа, преданного исключительно торговле... Это тоже одно из проклятий изгнания, предсказанное еще Иакову. Чтобы ослабить тяжесть этого проклятия, филантроп решил поощрять ремесла и постепенно ввести в косную среду элементы светского просвещения. В училище преподавали общеобразовательные предметы, арифметику, немного физики, алгебру и геометрию.

Но все это нужно было делать с разумною осторожностью, чтобы не отпугивать среду: в школу ходил также меламед, и в известные часы, в промежуток между другими уроками, из классных комнат неслось тонкое, многоголосое жужжание. Высокий носовой тенор меламеда речитативом произносил какой-нибудь стих, а затем класс пел, чмокал и жуж-

жал нараспев соответственную «тосефту». Младшие ученики ходили в долгополых кафтанчиках, в ермолках и отращивали пейсики. В старших классах, ввиду удобства для работы, воспитанники носили рабочие блузы, пиджаки и даже порой щеголяли в крахмальных воротничках и котелках. Это уже был прогрессивный компромисс, и старики неодобрительно качали головами.

Во главе школы стоял господин Мендель.

Это был человек очень подходящий для своей роли. При самом основании школы филантроп прислал его откуда-то из других более цивилизованных мест. Он носил старозаветный еврейский костюм: долгополый кафтан из тонкого сукна, сшитый таким образом, что он одновременно напоминал и лапсердак, и европейский сюртук. В официальных случаях он надевал настоящий сюртук. Из-под его жилета, когда он вынимал часы, виднелись шелковые «цицес», вроде моточков ниток, ритуальная принадлежность традиционного еврейского костюма.

Училище выпустило уже много ремесленников, и они пользовались отличной репутацией.

цией. На годовичных актах присутствовали губернаторы. Тогда еще считалось, что содействовать просвещению еврейской массы — полезно. Думали, что таким образом может произойти постепенная ассимиляция. Учеников школы охотно брали к себе помещики для разных работ в имениях, и при этом нельзя было иметь уверенность, что им не придется порой вкушать «треф»; но в школе все обряды исполнялись строго, и сам господин Мендель никогда не пропускал ни шему, ни тефилы. Посетителям нередко приходилось ожидать, пока г-н Мендель с талесом и тфилим, похожий на ветхозаветного иудея, доканчивал свои молитвы, жужжа и покачиваясь на восток...

— О, Мендель-отец настоящий еврей! — говорили в городе. А настоящий еврей, как известно, исполняет ежедневно не менее ста заповедей... Так говорит талмуд...

Отца и матери я не помнил и вырос в семье дяди. У дяди и его жены была только одна дочь, и они любили меня как сына. Дядя по принципу воздерживался от проявлений нежности, которые считал вредными для

мальчика. Тетка, существо очень доброе и любящее, отдавала мне весь избыток нежности, не уходивший на одну дочь, и я совсем не чувствовал своего сиротства.

Дядя был видный чиновник либерального тогда акцизного ведомства. В этом ведомстве терпелась значительная доля свободомыслия, которое, по тогдашним взглядам, гарантировало от традиционного взяточничества. И действительно, дядя отличался в губернской среде значительной свободой взглядов и строгой честностью.

Однажды ему пришлось сделать в ремесленном училище большой заказ для канцелярий, и на этой почве он познакомился с г-ном Менделем. Сначала он съездил в мастерские; посещение пришлось повторить для разных указаний, а затем между ним и Менделем завязались довольно близкие личные отношения.

Дядя, человек с небольшим образованием (он был, впрочем, вольнослушателем университета), много читал и имел большую склонность «к умозрительным наукам и отчасти даже к философии», — как порой выражался

он сам. Религиозные вопросы интересовали его глубоко и сильно. Много в том, что он читал, как я теперь вспоминаю, он понимал весьма своеобразно, но, во всяком случае, он выработал «своим умом» некоторую систему взглядов, вполне подходящую для собственного употребления и придававшую ему нравственную устойчивость и душевную ясность.

С г-ном Менделем они как-то скоро сошлись. Несмотря на разницу национальностей, у них оказались родственные натуры. Несмотря на искреннюю набожность Менделя, в нем до известной степени чувствовалась та склонность к «разумному компромиссу», которая в сношениях с христианами выделяла его из фанатически правоверной среды. Целые вечера дядя и Мендель проводили в разговорах. Мендель хорошо знал талмуд и порой расцвечивал свою речь по-восточному яркими, своеобразными притчами и сравнениями. Дядя убежденно считал христианство лучшей религией и последним откровением, хотя и допускал, что в него проникли некоторые искажения. Порой он довольно горячо принимался доказывать эти преимущества г-

ну Менделю. Последний осторожно, но очень убежденно отстаивал Моисеев закон. Впрочем, оба сходились на уважении ко всякой искренней вере. Так как индивидуальная мысль легко может приводить к опаснейшим заблуждениям и полному неверию, а полное неверие представлялось обоим самым худшим из душевных состояний, — то всего осторожнее держаться той веры, в которой человек родился. Дядя допускал возможность перехода к «лучшей вере», но не иначе, как в порыве истинного религиозного пафоса и душевного просветления. У него, кажется, была некоторая надежда, что ему, быть может, суждено убедить таким образом г-на Менделя. У г-на Менделя такой надежды, конечно, быть не могло, и он был совершенно лишен прозелитизма. Он никогда не нападал, и если вступал в споры с дядей на религиозной почве, то лишь по обязанности «добротного еврея» исповедовать бога Авраама, Исаака и Иакова во всякое время и при всяких подходящих обстоятельствах. В этом было больше страха показаться отступающим от своего исповедания, чем стремления победить чужое... Говорил он

необыкновенно спокойно и часто озадачивал дядю какой-нибудь яркой «агадой», поражавшей восприимчивое воображение. Порой, после ухода умного еврея, дядя до поздней ночи сидел за своим столом, качаясь в кресле, или ходил из угла в угол, что-то обдумывая и подыскивая возражения. И потом они опять начинали спор с этого места.

Время в провинции, и особенно в нашем городе, без железной дороги, было глухое, и эти два человека поддерживали взаимным общением свои умственные интересы. На этой почве сближение между умным евреем и видным губернским чиновником росло, и вскоре они познакомились и семьями. Мендели стали появляться в нашей гостиной, где, конечно, им приходилось встречаться также с господами и дамами губернского общества.

Мендель при этом держался просто, но с той внешней, так сказать, традиционной почтительностью, под которой классовая или национальная подчиненность часто уживается с глубоким и спокойным самоуважением. В его приемах как-то едва ощутимо сказывалось как будто непрестанное сознание, что

вот он, «простой себе еврей», сидит в гостиной или в кабинете у «гоя»[1], важного «пурица» и чиновника, и что для его долгополого кафтана, хотя и сшитого из тонкого сукна, — это большая честь... Но это была именно внешняя манера, своего рода национальная традиция, которую он носил вместе с долгополым кафтаном и вьющимися пейсами. Ему же лично принадлежало то полное внутреннее достоинства, почти аристократическое спокойствие, с которым он проявлял эту традицию. В случаях, когда ему приходилось подкрепить какое-нибудь обещание, подтвердить торжественное заверение, — он произносил неизменную фразу:

— Как честный еврей! — Иногда это произносилось даже по-еврейски: «ви их бин а ид»... В этой формуле эпитет «честный» выпускался. Достаточно того, что говорящий — еврей! Этим сказано все, что нужно... Фраза звучала торжественно, почти гордо...

В его лице, тонком, довольно красивом и выразительном, еврейский тип сказывался довольно ясно.

Жена его была настоящая «дама», и по пер-

втому взгляду в ней трудно было признать еврейку. Она, очевидно, получила «порядочное», как тогда говорили, то есть светское воспитание где-то в Галиции, чисто говорила польски, а по-русски с изящным польским акцентом. Единственная дань еврейским традициям в ее внешности, которую, очевидно, потребовало положение г-на Менделя, — был парик, которым она все-таки заменила свои, вероятно, красивые природные волосы. Но он не был гладкий, как у большинства замужних евреек. Она подбирала его так, чтобы он хоть до известной степени напоминал ее прежнюю прическу. В остальном она ничем не отличалась от наших знакомых дам, а своим изяществом и манерами даже превосходила многих. Сознание этого сказывалось порой в удивленных, почти негодующих взглядах, которые невольно кидали на нее некоторые из посетительниц нашей гостиной.

— Эта еврейка держится совсем *en grande dame*...[2] — говорили слегка насмешливо дамы из общества. — Странная претензия!

Мужчины признавали, однако, что именно претензий в манерах красивой еврейки со-

всем не было заметно.

Но все-таки странно: несмотря на чрезвычайную независимость ее манер, в ней не чувствовалось все-таки того спокойствия, которое сказывалось под внешней почтительностью г-на Менделя. Ее красивые глаза порою нервно блестели, а лицо покрывалось летучим румянцем. Это было тоже почти неуловимо, но все же чувствовалось... И может быть, это нравилось в ней, как нравились и манеры ее мужа...

Говорили, что ее семья была когда-то очень богата, но теперь от этого богатства уцелели лишь остатки, которые она и принесла в приданое г-ну Менделю. Как случилось, что красавица и модница вышла за старозаветного еврея, хотя и образованного по-тогдашнему, но все же сильно отличавшегося от нее манерами, — сказать не могу. Может быть причиной была выразительная наружность, уважение, которое ему оказывали, наконец просто — воля родителей... Как бы то ни было, жили они, повидимому, согласно. Мои дядя с теткой шутили иной раз между собой, что г-н Мендель сильно влюблен в свою

жену, и мне, помню, это казалось странно, как и то, что будто бы она держала своего уважаемого супруга под башмаком. В моем воображении эти романические черты совсем не вязались с представлением о «настоящих евреях». Она, — это еще казалось возможным... Но г-н Мендель влюбленный и под башмаком... Но это, кажется, было так. И особенно это сказалоь в отношении к детям.

Однажды Мендели пришли к нам с двумя сыновьями и дочкой. Дядя позвал меня и сестру в гостиную и сказал серьезно:

— Ну, вот вам товарищи. Познакомьтесь. Я желаю, чтобы вы подружились так же, как дружны родители.

Дядя как-то тепло посмотрел на Менделя. Тот дружески, но все же почтительно кивнул головой и погладил свою красивую волнистую бороду. По лицу г-жи Мендель, как неуловимая зарница, пробежал румянец, и она значительно посмотрела на сыновей и дочку, как бы тревожась: поддержат ли они свое достоинство хорошо воспитанных детей.

Один мальчик был значительно выше и, повидимому, старше меня. Он походил на г-

на Менделя, только черты были несколько грубее, движения угловатое и гимназический мундир сидел на нем чуть-чуть мешковато. Наружность младшего меня удивила. На нем был долгополый кафтанчик, какие носили младшие ученики ремесленного училища. Ермолочка покрывала коротко остриженную голову, и по сторонам висели пейсики. Эта разница в наружности двух сыновей объяснялась супружеским компромиссом. Первые годы учения дети проводили в хедере и только с известного возраста поступали в гимназию. Для старшего этот приготовительный возраст длился дольше, и он казался несколько долговязым в своем мундире. Младший уже последний год выкрикивал в хедере стихи талмуда. К нему уже ходили и учителя, подготовлявшие его в гимназию.

Девочка была одета, как куколка, и красива, как мать. Ее голова была слегка запрокинута, и нижняя губка чуть-чуть выдвигалась вперед, что придавало ей вид некоторой надменности. Звали ее Маней.

Когда мы вышли в сад, некоторое время в нашем маленьком обществе господствовала

натянутость. Маня нашлась скорее: она подошла к клумбе и стала любоваться цветами... У них при квартире не было цветов. Как они называются? Сестра стала называть цветы. «Отец очень любит цветы, и вот эти — его любимые. Он сам за ними ухаживает, когда свободен...» Разговор завязался. Гостья наклонилась к цветам, как маленькая принцесса.

У нас, мальчиков, дело шло труднее: некоторое время мы ходили по аллеям смущенные и неловкие. Не знаю, как обошлось бы это первое знакомство и не кончилось ли бы оно охлаждением и скукой, если бы его не облегчило постороннее вмешательство. Из сада нашего соседа, г-на Дробыша, внезапно перескочил через забор единственный его сын, Степа Дробыш, мой одноклассник, и остановился в удивлении при виде незнакомых посетителей. Но долго удивляться было не в обычае этого моего развязного приятеля.

— Кто это у вас такие? — спросил он без церемонии. — А, этого я видел, продолжал он, подавая руку старшему. — Он из нашего класса, только второго отделения... А это что за «вусыдыс»? [3] И какие у него смешные пейсы!

Он повернулся к младшему, оглядел его с ног до головы и, неожиданно протянув руку, тронул один из пейсов.

Маленький лапсердачник вспыхнул. Глаза его засверкали, как острые гвоздики, и быстрым кошачьим движением он кинулся на обидчика. Дробыш стоял у края клумбы. При неожиданном толчке он запнулся и упал назад, сломав любимые цветы дяди. Это очень сконфузило Дробыша. Он поднялся и стал с беспокойством смотреть на произведенные падением опустошения. Его маленький противник стоял, весь насторожившись, ожидая, очевидно, продолжения битвы.

Но Дробыш был малый добродушный и сознавал, что еврейчик был в своем праве. Кроме того — общее сочувствие было не на его стороне.

— И отлично, и отлично, — сказала с негодованием моя сестра. — Надо быть вежливым со всеми, а вы, Степа, грубиян и невежа.

— Ну, что ж... Я и не обижаюсь, — смиренно сказал Дробыш.

Тут он заметил Маню и вдруг остановился с простодушным выражением приятного

удивления.

— А это кто у вас, Аничка? Их сестра? Какая хорошенькая! И совсем не похожа на жи-довочку.

Маня еще больше запрокинула свою красивую головку, губка ее еще больше выпятилась, и она, повернувшись к сестре, сказала вполголоса, но так, что Дробыш слышал:

— Какой невоспитанный! Терпеть не могу бесцеремонности.

Дробыш засмеялся, хотя и несколько кисло. Но потом отряхнулся и дружески взял за руку недавнего противника.

— Ты молодец, — сказал он, — только дерешься по-кошачьи. Ну, давай познакомимся. Меня зовут Степан Дробыш. А тебя?

— Фроим Мендель, — сказал тот и шаркнул ногой по песку аллеи. Было видно, что так кланяться при знакомстве его научила мать.

— Ну, молодец Фроим. Ах, черт возьми, я, кажется, разорвал рукав... Ну, ничего! Скажи, брат: это тебя в хедере, что ли, так научили драться? У нас в гимназии дерутся не так...

— Я в будущем году тоже поступлю в гимназию, — сказал Фроим. — Израиль тоже

прежде учился в хедере, а потом поступил в гимназию.

— За коим чортом ходить в хедер? — спросил Дробыш.

— Это потому, — сказал серьезно Израиль, — что мы евреи... Отец хочет, чтобы мы и в гимназии остались добрыми евреями...

— Фью! — свистнул Дробыш. — В гимназии вы будете гимназисты...

— Мама тоже говорит, что в гимназии мы будем гимназисты, как все...-живо подхватил Фроим.-И она зовет.меня Альфредом...

— Но ты все-таки останешься Фроим... И тебя так запишут, — строго сказал старший.

— Да, меня так запишут, но звать можно и Альфредом...

Дробыш пригласил всю компанию кататься на плоту в их саду. Девочки пошли кругом через калитку, а нам пришлось перемахнуть через забор. Израиль перелез несколько грузно. Фроим живо подобрал длинные полы, перевязал их в талии фуляровым платком и перебрался очень ловко. Когда он соскочил на другую сторону, все мы кинулись к небольшому пруду, куда вскоре прибежали и девоч-

ки. Дробыш хохотал, указывая на Фроима. Его фигура с подобранными полами, в черных чулках и патыночках, была точно маленькая шутливая пародия на взрослого еврея... Смех был так непосредствен, что Фроим несколько не обиделся. Он провел руками по пейсам, поднял брови и скорчил гримасу. Маня слегка покраснела, думая, — не надо ли опять усмирить Дробыша, но потом звонко засмеялась и сама. И наше катанье на плоту прошло очень весело.

Когда нас позвали к чаю, мы ввалились в гостиную уже знакомой приятельской гурьбой. У нас были еще гости: г-н Фаворский с супругой. Г-жа Фаворская была родственница губернаторши, г-н Фаворский был ее муж, то есть свойственник губернатора. Это было их общественное положение. В гостиной царствовала некоторая натянутость. Чувствовалось, что г-жа Фаворская слишком старается поддерживать разговор в угоду дяде, который был известен за «человека с идеями»... У г-на Фаворского были огромные усы и очень молчаливый нрав. Когда мы вошли, оживленные и голодные, — г-жа Мендель кинула на нас

тревожный взгляд, но тотчас же успокоилась. Все, очевидно, шло хорошо. Знакомство состоялось. Девочки вошли, держась за руки. Фроим, конечно, привел свой костюм в порядок. Его лицо все еще дышало юмором, и в глазах бегали искорки. Все мы, переглядываясь, чаще всего обращали глаза на Фроима. Г-жа Мендель была удовлетворена. Все шло нормально: и здесь ее любимец стал центром юной компании.

Когда Мендели ушли, Фаворские еще остались.

— Он удивительно, удивительно умеет держать себя — этот еврей, — сказала г-жа Фаворская, обращаясь к дяде, с целью сказать ему приятное. — Такой приличный и столько такта. О, я всегда говорю, что и среди них есть люди... люди... которые...

— Которые умеют уважать себя, и потому их вынуждены уважать другие, сказал дядя серьезно.

— Ну, вот, вот... Он удивительно тактичен...

— И она тоже женщина очень милая, — вставила тетка своим ласковым голо-

сом, слегка растягивая слова.

— Н... да, — протянула г-жа Фаворская снисходительно, но в этом согласии слышалось отрицание. — Не находите ли вы, — обратилась она опять к дяде, — что младшему мальчику больше идет его ермолочка, чем старшему мундир?.. Так хорошо, когда люди знают свое место. Вы... не находите этого? — с некоторой тревогой переспросила она.

— Младший тоже поступит в гимназию, — довольно сухо ответил дядя.

— Да-а? — разочарованно протянула дама. — Но тогда зачем же... Зачем они так одевают его теперь?

— Мендель считает, что раньше, чем поступить в гимназию, они должны научиться быть евреями.

— О, да-да! Им не следует забывать этого... Как их почтенный отец... Он нисколько не заносится, не старается держать себя выше своего звания... Не правда ли?

— Его звание — педагог... Оно довольно высокое, — сказал дядя. Было видно, что разговор не совсем ему по душе.

— Да, да! Вы правы. Вы совершенно пра-

вы!.. Я всегда говорю то же самое.

И г-жа Фаворская стала горячо целоваться с теткой на прощанье.

С этого дня знакомство наше закрепилось. Приблизительно через год г-жа Мендель зашла как-то к тетке и, точно случайно, захватила с собой Фроима. Он был в новеньком с иголки гимназическом мундире.

— Какой вы хорошенький гимназистик! — невольно вырвалось у моей Анички.

— Да, в самом деле, он у вас красавчик, — подтвердила тетка, окидывая Фроима внимательно-ласковым взглядом.

Это была правда: одежда сильно меняла к лучшему наружность мальчика. Типично еврейских черт у него было гораздо меньше, чем у отца и брата. Он больше походил на мать и сестру — только в нем не было застенчивости, и глаза сверкали веселым задором. Еврейский акцент в его речи почти исчез, о чем он, видимо, очень старался.

Г-жа Мендель покраснела от удовольствия и кинула на мою тетку взгляд, полный застенчивой благодарности.

— Ну, а как же вы записали его в гимна-

зию. Все-таки Фроим? Как это жаль. Надо было оставить это вместе с ермолочкой... Альфред, Фредди... Положительно, это шло бы к нему лучше...

— Это желание Менделя, — вздохнула она. К концу этого разговора вошел в гостиную дядя. Он тоже полюбовался на Фроима и сказал:

— И отлично, что он остался Фроимом. Не надо отрекаться от имени, данного человеку при...

Он чуть не сказал: при крещении, но спохватился и закончил:

— Данного при рождении. Родился Фроимом, так и оставайся Фроимом. Твой отец прав.

Он хлопнул мальчика по плечу и серьезно посмотрел ему в глаза. Фроим так же серьезно поклонился. Г-жа Мендель могла остаться довольной важной грацией этого поклона.

Тетка осталась при своем мнении, и, когда г-жа Мендель ушла, она сказала дяде, пожав плечами:

— Всегда вы, мужчины, поддерживаете друг друга... Если можно было записать Фредам, пусть бы записали... Они ведь не кре-

стятся. Зачем эти Шмули, Лейбы, Срули?.. Это так некрасиво и вульгарно.

— У них имя дается при обрезании. А для еврея это все равно, что для нас крещение.

— Ну уж, — с легкой улыбкой сомнения сказала тетка.

В гимназии Мендели учились хорошо. Старший был склонен больше к математике, младший отлично усваивал языки и историю. Старший был ровно прилежен, у "младшего" плохие отметки то и дело вкрапливались среди блестящих успехов. Он был очень самолюбив, и его сильно задевали насмешки товарищей над отсутствием развязности и неловкостью евреев. Через некоторое время он отлично танцевал и прекрасно бегал на коньках. Порой запоем предавался чтению. Вообще он был неровен, блестящ, возбуждал больше симпатий и навлекал больше наказаний, чем старший брат, который шел без остановок и отступлений.

Тогда еще не было того, что мы теперь называем антисемитизмом, хотя не было и еврейского равноправия. Черта оседлости существовала, как данный факт, незыблемый и не

подвергавшийся критике. Впрочем, и многое тогда казалось незыблемым и не подвергалось критике, и оттого все легче было переносить, как судьбу, предназначение, извечное устройство мира. Об изменении положения евреев никто и не помышлял. В этом числе — сами евреи. Я не помню даже, чтобы самое слово «черта оседлости» когда-нибудь употреблялось в то время. Евреи просто жили в известных местах, как испанцы живут в Испании, французы во Франции, а наши крымские татары в Крыму... И казалось, что это удобно... Не было громко заявляемых притязаний, не было и антисемитизма. Не было протеста с одной стороны, не было прямой враждебности с другой. Но в этом спокойствии, под этим не только нерешенным, но даже не поставленным еще ни для одной из сторон «вопросом» дремали возможности и того и другого: и активной вражды, и протеста, и требований равноправия, и... погромов.

Тогдашние гимназии тоже не знали неравенства воспитанников-евреев, в корне извращающего внутренние отношения в товарищеской среде. Педагоги, ругающие своих

питомцев жидами и читающие на уроках антисемитские листки, тогда были еще не виданы. Процентная норма не существовала. Учились все, кто имел желание. Наши отношения к соученикам-евреям были по-товарищески просты... В нашем классе был один француз, родители которого недавно приехали в Россию. Он говорил по-русски грамматически правильно, но с грассированием и акцентом. В его старательной речи порой попадались курьезные обмолвки, возбуждавшие смех. Но в этом смехе не было ничего обидного. Это был просто корректив со стороны юной товарищеской среды. Так же нам случалось смеяться над акцентом и ошибками евреев.

Мы узнали Менделей, когда один носил мундир, а другой ходил еще с пейсами и в ермолке. С легкой руки Дробыша, пустившего карикатурное изображение мальчика в лапсердаке и патынках, — младшего Менделя прозвали цадиком. Старшему случилось как-то обмолвиться, — он говорил вообще правильно, но когда его застигали врасплох, в его речи прорывались резкие юдаизмы. Однажды он был погружен в занятия, когда кто-то

из товарищей постучался в закрытую дверь. Сначала он не расслышал. Потом, когда настойчивый стук дошел до его слуха, он поднял голову и спросил громко, нараспев:

— Киво' т-а-ам?

С этих пор его звали рабби Кивот-а-ам и дразнили этим певучим вопросом.

Все это не связывалось ни с каким общим направлением. Евреи сами смеялись над французом и позволяли смеяться над собой. Но что-нибудь ядовито-обидное было бы встречено резким осуждением и товарищей, и педагогов... Смеялись над смешным и только. Когда в наш город приехал известный тогда рассказчик из еврейского быта Вейнберг, зал был полон, причем публика состояла наполовину из евреев... Евреи хохотали так же непринужденно, как чисто русская публика хохотала над рассказами Горбунова «из русского быта». И некоторые пассажи мы применяли к товарищам-евреям... Теперь этой свободы уже нет. Даже литература молчит о тех или других чертах исторически сложившегося еврейского национального характера, остерегаясь совпадений с лубочной юдофобской

травлей. Свобода критики пасует перед угнетением.

Тогда мы этого еще не знали. Мы как-то не чувствовали, не ощущали разницы наших национальностей. Разница отводилась на самые безжизненные и скучные предметы гимназического курса. Священника мы слушали, так же зевая, как поляки своего ксендза. Раввина совсем не было, и Мендели становились, действительно, «просто гимназистами». Впрочем, их посещал порой по настоянию отца умный и ученый меламед. Фроим шутил над ним. Израиль перед нами не высказывался по этому предмету, и мы считали, что он просто переносит своего раввина с философскою сдержанностью. Он вообще был расположен не только к математике, но и к философии и читал, как мы тогда говорили, «всю метафизику».

— Что такое есть метафизика? — смеялся над ним Фроим. — Это есть то, чего не понимает сам мудрый Израиль и чего не может объяснить своему глупому брату Фроиму... Ну, так это и есть метафизика...

Израиль снисходительно улыбался.

— Ну-у? — дразнился на еврейский лад Дробыш. — Чиво вы себе думаете? Это у него осталось от хедера. Он такой себе мудрый... Он все думает, все думает... — Думай, думай, только не спи!-кончал Фроим из известного еврейского анекдота.

Этот анекдот в то время был очень популярен. У простого еврея оказался очень мудрый сын. Он все читал талмуд и все думал о разных очень глубоких вопросах.

Однажды отец с сыном поехали на телеге в город и остановились в поле ночевать. Лошадь они привязали на вожжах к дереву так, чтобы она могла щипать траву. Караулить ее они решили попеременно. Сначала не спал отец, потом он разбудил сына. — «Смотри, Шмуль, ты не заснешь?» — Нет, я буду думать. — «Ну, думай, думай, только не спи». Через некоторое время отец просыпается. — «Шмуль, ты не спишь?» — Нет, я думаю. — «О чем же ты думаешь?» Сын думает о том, что если ткнуть палкой в землю, то получится ямка, а куда же девалась эта земля, что вот была тут, а теперь нет? — «Ну, думай, думай, только не спи!» — произносит удовлетворенный

еврей. О, у него мудрый сын. Так он просыпается несколько раз. Сын задает себе и разрешает целый ряд таких вопросов. Наконец опять: «Шмуль, ты не спишь?» — Нет, я думаю. — «О чем же ты думаешь?» — Я думаю о том, что вот тут была белая лошадь, а теперь ее нет. Куда же она девалась? — Лошадь, оказывается, украли.

Мы применяли этот анекдот к Израилю. Он, действительно, часто бывал рассеян и имел вид человека, погруженного в постоянную задумчивость. О чем он думает — мы знали только отчасти. При общих чтениях он спорил редко, но его мнения всегда бывали оригинальны и не подходили к шаблонам.

Я, Израиль Мендель и Дробыш были уже в последнем классе. Фроим перешел в шестой. Но — как это иногда бывает — он держался больше в кружке старшего брата, и мы считали его товарищем. В наших внеклассных чтениях он принимал участие полудилетантское, часто манкировал, но иногда увлекался и просиживал целые дни над какой-нибудь толстой книгой. Порой его парадоксальные возражения, неожиданные, не всегда основа-

тельные, но всегда уверенные, стремительные и страстные, затягивали наши споры до глубокой ночи. Израиля это иногда сердило. Нас и других участников больше забавляло. Израиль сердился особенно, когда Фроим высказывал прямолинейно атеистические взгляды. Все мы, в сущности, были проникнуты передовыми взглядами и философией того времени. Все относились совершенно отрицательно к обрядам и довольно равнодушно к тому, что еще оставалось у нас от религии. Нам было лень и недосуг разбираться в этом. Но что-то еще оставалось, и особенно сильно в Израиле. Это, кажется, было бессознательное влияние веры отцов: для меня — моего дяди, для Менделей — их отца...

Иногда после полуночи, в самый разгар наших споров, в стену смежного кабинета дяди раздавался стук... Фроим спохватывался, на его лице появлялась уморительная гримаса, и, поднявшись на цыпочки, он делал рукой широкий жест меламеда, усмиряющего раскричавшихся хедерников:

— Кин-дер! Ш-ш-а!

И мы расходились веселые и возбужден-

ные... Несомненно, что без Фроима наши занятия шли бы с гораздо меньшей живостью.

Наш дом и сад был недалеко от окраины города. К саду соседа Дробыша примыкал большой пруд. Тут, недалеко, пролегал большой шлях и, как всегда у выезда, ютились кузницы. Зимой на пруду гимназисты катались на коньках. Мы были завзятые конькобежцы. Даже Израиль со своей несколько неуклюжей высокой фигурой тоже порой появлялся среди веселой стаи и сосредоточенно, качаясь, как башня, старательно выделял «голландский шаг». При этом он точно решал какую-то задачу «по законам динамики», и мелкота старалась не попадаться ему на пути во время этих экспериментов. Фроим был в числе первых конькобежцев.

Из кузниц часто выбегали, все в саже, евреи молотобойцы и мальчишки, раздувавшие меха, и смотрели на катанье. При этом, конечно, являлся невольный антагонизм между свободно резвящейся молодежью и такой же молодежью, проводящей целые дни за горнами. Кузнецы часто забавлялись тем, что, наскоро выбежав из кузниц, швыряли

под ноги катающихся палки или глыбы льда. Однажды, когда лед был довольно тонок, они под вечер разбили его полосой в одном месте. Ночью эта полоса опять подмерзла, а к утру ее припорошило снегом. После уроков, когда ученики появились на льду, — лукавые кузнецы ничего не сказали, но, видимо, поджидали чего-то. Дробыш, считавшийся самым смелым конькобежцем, разбежался и нечаянно попал на роковую полосу. За ним ввалился другой гимназист...

Такие маленькие неприятности случались часто и не были опасны, так как пруд был неглубок. Мы связывали башлыки, посылали вперед малышей и потом, под пение «дубинушки», очень весело вытаскивали провалившихся. Так было и этот раз. Но мы, конечно, не могли простить кузнецам ни их коварной ловушки, ни злорадных криков ура, огласивших берег пруда у кузниц, к которым присоединились такие же злорадные крики обозчиков, проезжавших по шляху с бочками смолы. С этих пор между берегом с кузницами и катком на пруде установились своего рода полшуточные боевые традиции. Мы свободно

ходили берегом мимо кузниц и мирно разговаривали с кузнецами. Но стоило надеть коньки и сойти на лед, как тотчас же обе стороны вступали на боевую почву. На берегу торжествовали кузнецы, на льду гимназисты сбивали с ног и закидывали снежками кузнецов, неосторожно увлекавшихся преследованием. Никто при этом не думал о том, что кузнецы почти сплошь — евреи. Это была война льда и берега, гимназии и кузниц, и ничего больше.

Подошли рождественские каникулы, потом — крещение. Накануне на льду вырубил большой крест, кругом расчистили снег и после службы из города двинулись хоругви, духовенство в ризах, чиновники в треуголках, дамы в роскошных шубках и простой народ... Присутствовали губернатор и губернаторша. Около них виднелись между прочим г-н Фаворский с монументальными усами и его супруга.

Водосвятие кончилось, публика разошлась и разохалась, оставив огромное пространство вытоптанного снега, с узорным крестом посередине. Кругом креста стояли натыкан-

ные во льду елки... И тотчас же гладкий лед завизжал под коньками.

День был ясный и тихий. Светило солнце, но мороз крепчал. В вышине то и дело сами собой оседали большие хлопья инея и, колыхаясь, тихо садились на лед. В воздухе было что-то бодрящее, возбуждающее, веселое, почти опьяняющее. Лед взвизгивал под коньками и порой звонко, переливчато трескался.

Ради водосвятия и торжественного христианского праздника кузницы с утра стояли закрытые. По окончании торжества их начинали открывать, но работы было мало, И кузнецы, такие же веселые, как мы, празднично толпились еще на берегу. Между берегом и льдом замелькали, сверкая на солнце, комья снега и куски льда...

Один из молодых молотобойцев, Мойше Британ, парень необыкновенно коренастый и сильный, вдруг спустился с берега и храбро один пошел по льду. Это был вызов. Он шел беспечно серединою пруда, и в руках у него была большая палка на длинной веревке. Порой, остановившись, он пускал палку под ноги катающихся, и несколько человек упало. С

берега раздавались ободряющие крики:

— Ура, Мойше Британ! — Еврейские мальчишки визжали от восторга и радостно кувыркались в снегу.

Фроиму пришла вдруг идея. Он подОехал к другому гимназисту, и они вдвоем взбежали на берег. Никто на это не обратил внимания. Через несколько минут они опять спустились рядом на пруд и стали приближаться к Британу. Британ смотрел в другую сторону, а когда с берега ему крикнули предостережение, — было уже поздно. Фроим и его сообщник вдруг разбежались в стороны и в руках у каждого оказалось по концу веревки. Веревка подсекла Британа, и он полетел затылком на лед, высоко задрав ноги в больших валенках.

Очередь торжества наступила для пруда... Лед огласился криками:

— Ура, наши! Браво, Фроим Мендель. Ура! Зрелище падения было так комично, что даже на берегу мальчишки хохотали и визжали, кувыркаясь в снегу...

Падение на спину на льду всегда очень больно, а порой и опасно. Британ несколько секунд лежал ошеломленный. На берегу заме-

тили его затруднительное положение и кинулись к нему. Но Британ поднялся вдруг, несколько еще ошеломленный, но тем более свирепый, и кинулся на своих врагов. Прежде всего он схватил за середину веревки, которую Фроим с товарищем старались высвободить из-под его ног, и, сильно дернув ее, пустил обоих с бешеной силой по кругу... Фроим по инерции пролетел совсем близко от берега. Здесь был уже подмерзший неровный снег. Фроим споткнулся и упал. Через полминуты над ним образовалась живая куча копошащихся тел.

— Бей Фроима! Бей Менделя! — кричали с берега.

— Выручать Фроима! — отвечали гимназисты. Они расхватали стоявшие у Иордани елки и с ними кинулись на выручку. Все пришло в тревожный беспорядок. Евреев сбивали елками с ног... Между берегом и прудом мелькали комья снега, ледяшки, палки. Побойще перестало походить на игру. Британ, как медведь, скользя, переваливаясь, бежал к свалке. К счастью, он опять поскользнулся и упал, а в это время товарищи успели выру-

чить Менделя, и ледяная армия опять отделилась от береговой. У Менделя лоб был в крови, и на месте свалки виднелось красное пятно.

По льду, выпятив грудь, скользящей походкой, приближался околodочный надзиратель Стыпуло. Он еще недавно был великовозрастным гимназистом, и в нем были еще живы инстинкты «товарищества». Поэтому, ворвавшись в толпу, он прежде всего схватил ближайшего еврея и швырнул его так усердно, что тот упал. При этом из груди его вырвался инстинктивный боевой клич: — «Держись, гимназия!» Но тотчас, вероятно, вспомнив свое новое положение и приношения еврейского общества, он спохватился и заговорил деловым тоном:

— Расходитесь, расходитесь! Что за беспорядок!.. Господа гимназисты! Стыдно!

О происшествии заговорили в городе. Дело «дошло до губернатора». Полицмейстер вызывал надзирателя Стыпуло. Стыпуло после этого уверял недавних товарищей, что он выставил евреев единственными виновниками свалки. Скоро откуда-то возник слух, будто

побоище произошло между «евреями и христианами» из-за того, что якобы над крестом после водосвятия евреи произвели грязное кощунство. Стыпуло, когда его об этом спрашивали, давал показания противоречивые. Когда спрашивали евреи, он отвечал:

— Нич-чего подобного. Простая игра!

А когда спрашивали гимназисты, не участвовавшие в катаньи или возвратившиеся с рождественских каникул, он отвечал убежденно:

— А ка-ак же! Обя-зательно!..

Гимназическое начальство тоже произвело свое дознание, и некоторые гимназисты, чтобы избежать карцера и дурных баллов по поведению, ухватились за легенду о кощунстве... Но большинство говорили правду. Легенде противоречило и то, что в центре свалки участвовал на христианской стороне сын Менделя... Британа, еще до конца разбирательства, без церемонии посадили в каталажку. Меня, Фроима, Дробыша и еще двух-трех гимназистов — в карцер. Мендель-отец приходил к моему дяде, и они ездили куда-то вместе, с заступничеством... В то же время г-жа

Мендель, встревоженная, сидела у моей тетки. В гостиной все взрослые сошлись.

— Ну что? — спросила г-жа Мендель у мужа и была разочарована, узнав, что мужчины хлопочут больше о Британе и евреях.

— А Фроим? — спросила она и тотчас же поправилась: — А наши мальчики?..

— Мальчики посидят в карцере, — холодно ответил дядя, а Мендель погладил бороду двумя руками: одной снизу, другой сверху. Это показывало, что г-н Мендель серьезно озабочен и сохранит свою независимость.

Дяде пришлось съездить к губернатору. Дело удалось погасить. Британа отпустили, поднятая полицией кутерьма затихла. Нас тоже выпустили из карцера. Губернатор вызвал к себе раввина и нескольких «почетных евреев». В их числе был и Мендель. Начальник губернии произнес речь, — краткую, категорическую и не очень связную. Но тогда местной газеты еще не было, и от губернаторов не требовалось красноречия: все происходило по домашнему.

— А, господин Мендель, — сказал он между прочим, и лицо его приняло благосклонное

выражение. Он удостоил даже протянуть г-ну Менделю руку, к которой тот, низко наклонясь, почтительно дотронулся своей тонкой белой рукой.

— Ваш сын тоже был там? Да, знаю, знаю... Он был на стороне христиан... Директор мне говорил, что их всех наказали... Что?.. Еще сидят в карцере... Я попрошу, чтобы их освободили... Ну, прощайте, господа, и... чтобы этого более не было!

Вскоре нас тоже отпустили из карцера с соответствующими наставлениями. В городе еще долго не улеглись толки, вызванные этой историей. Легенда о кощунстве все-таки не исчезла, и... тем более говорили о Фроиме, который «был на стороне христиан».

Однажды Мендели пришли к нам и в нашей гостиной встретились с целым кружком губернских дам; в центре этого кружка была г-жа Фаворская. Эта дама была в курсе «взглядов высшей администрации» и очень любезно поднялась навстречу г-ну и г-же Мендель.

— Ах, вот мы опять встречаемся, — сказала она любезно. — Очень, очень рада. А это ваш сын... Тот самый? — сказала она, заметив Фро-

има, проходившего ко мне через соседнюю комнату. — Пойдите, молодой человек. Мы тут хотим с вами познакомиться. Какой он у вас красавчик!.. А это что же у него?.. Шрам?.. Над самым глазом?.. Боже мой, — это ведь очень опасно? И он получил его... тогда?..

Фроим принял все это довольно кисло и явно порывался к двери, где его дожидались Дробыш, Израиль и я... Заметив это, г-жа Фаворская с милостивой улыбкой отпустила его.

— Ну, ступайте, ступайте к вашим товарищам, с которыми вы делили опасность...

Но раньше, чем Фроим ушел, молчаливый г-н Фаворский двинулся к нему, со своими монументальными усами и огромными крахмальными воротничками. Перехватив его у порога, г-н Фаворский демонстративно пожал ему руку...

— Позвольте мне... со своей стороны... Вы — положительно... — он несколько раз потряс его руку, — благородный молодой человек!

Фроим густо покраснел и скрылся за дверь. Все, на что решался за свой страх г-н Фаворский, всегда и вперед было обречено на

неловкость. Теперь это выражение перед мальчиком чувств было тоже немного слишком выразительно, и его супруга сочла нужным до известной степени мотивировать его поступок...

— Вы знаете, — повернулась она к смущенной г-же Мендель, — о вашем сыне почти полчаса говорили в губернаторской гостиной. О, не беспокойтесь... Уверяю вас, — в самых лестных выражениях... Конечно, дети — всегда дети... Но на этот раз... такое хорошее направление.

Г-жа Мендель сильно покраснела, и это сделало ее, как всегда, еще более красивой, но трудно было бы сказать, что эти лестные отзывы доставляют ей удовольствие. По крайней мере она кинула на своего мужа быстрый и несколько смущенный взгляд. Лицо г-на Менделя было сурово. Можно было догадаться, что этот предмет уже составлял сюжет не особенно приятных разговоров в семье Менделей.

Когда мы всей нашей компанией вошли в мою комнату, — лицо Фроима тоже было красно, Израиль был угрюм и задумчив. Дро-

быш уселся на постели, закурил папиросу и, следя за кольцами дыма, сказал сентенциозно:

— Да, надо признаться: свинство вышло порядочное, и вот теперь... поделом.

Фроим сделал нетерпеливое движение:

— Кто же тут виноват, чорт возьми! Разве я мог предвидеть, что эта дура?..

— Нет, ты не виноват, — с горечью сказал Израиль. — Я тебя никогда не предупреждал?..

— О чем еще ты предупреждал?.. — сердито спросил Фроим.

— Ты не знаешь о чем?.. Тебе еще нужно растолковывать? — сказал Израиль, глядя в упор на Фроима своим глубоким серьезным взглядом.

Тот потупился. Можно было догадаться, на что намекал Израиль. В семье Менделей, очевидно, намечалась драма. Быть может, г-н Мендель спохватывался, что его сыновья, по крайней мере один из них не обещал сохраниться в качестве «доброго еврея», и случайные обстоятельства только стихийно подчеркивали это...

Эта стихия и говорила теперь устами супругов Фаворских.

БАСЯ И ЕЕ ВНУЧКА

Мы окончили курс. Я поступил на историко-филологический факультет. Дробыш — в технологический институт, Израиль избрал медицину. Мы знали, что Израилю больше нравилась философия, что он зачитывался Спинозой и Лейбницем, но это была уступка горячему желанию родителей. Медицина и тогда, как теперь, была предметом честолюбия еврейских родителей.

Мы решили не разлучаться, и все поехали в Петербург. Здесь сразу столичная жизнь с начинавшимся оживлением в студенческой среде охватила наш маленький земляческий кружок... И через год мы возвратились в родной город сильно изменившимися, особенно Израиль. Ему, вдобавок, пришлось надеть очки, и он, всегда серьезный и молчаливый, теперь положительно имел вид молодого ученого.

Фроим оставался этот год в городе, но ни с кем из своих товарищей по классу не сходил-

ся уже так близко, как с нами. Он был тот же веселый, жизнерадостный мальчик, обращавший на себя внимание и часто заставлявший говорить о себе. Он попрежнему дружил с моей сестрой, которая постоянно виделась с Маней Мендель. Это была та беззаботная интимность, которая так часто бывает уделом молодости и кидает такой хороший свет на настроение молодых годов...

Но теперь в их маленьком кружке появилось еще новое лицо.

Недалеко от нашего дома находился заезжий двор еврейки Баси. Хозяйка его, кроме содержания этого двора, занималась еще торговлей шелковыми материями вразнос. Товар у нее появлялся лишь периодически и шел очень ходко. У Баси можно было достать самые тонкие ткани самых красивых цветов, и притом по очень дешевым ценам. «Такое у меня счастье», — говорила она с тонкой улыбкой. Кажется, ее «счастье» состояло просто в том, что она получала товар непосредственно из-за границы, без некоторых таможенных формальностей. Тогда на такого рода торговлю смотрели просто. Граница была не очень

далеко. «Такие товары» можно было изредка получать «по знакомству» с некоторыми чиновниками, имевшими родню «в пограничном ведомстве», но чаще — через Басю. Чиновники были все люди уважаемые. Бася тоже пользовалась общим расположением и даже почетом. Когда ее опрятная фигура, приземистая и сильная, появлялась на улицах, с квадратным, не очень обоемистым узлом, перевешенным через плечо, то все знали:

Бася получила «новую партию». Она смело входила с парадного хода в любой дом, и на женской половине ее встречали, как желанную гостью. Конечно, все знали, что содержимое ее узла не оплачено на границе, — но, конечно, оно было оплачено где следует в городе, и жена полицмейстера первая обновляла новые материи. От такого перемещения оплаты все выигрывали, и все, значит, было благополучно.

Сама Бася была женщина уже пожилая, носила гладкий шелковый парик, и лицо ее хранило следы былой, повидимому замечательной красоты. В ее манерах сказывалось своеобразное изящество и какая-то особенная сво-

бода, которая дается собственным сознанием и внешним признанием полезной общественной деятельности. В ее обращении не было заметно даже той чисто внешней условной приниженности, которую считал для себя приличной г-н Мендель. Она входила в комнаты, молча снимала с плеча узел и, представляя дамам восхищаться содержимым, — была вперед уверена, что ее приход вносит оживление, удовольствие, радость. Она, конечно, торговалась, но было очевидно, что это только уступка обычаю и дамской слабости покупательниц. У нее были твердо установленные цены и запрашивала она очень умеренно, лишь для того, чтобы было с чего скинуть и чтобы было время поговорить. Разговоры она вела долгие и на самые разнообразные темы. Басю любили: ее посещение вносило что-то особенное, какую-то живую струйку в скучные будни N-ских дам. Она это сознавала и держалась со своими покупательницами на равной ноге. Бася знала всю подноготную семейной жизни N-ских обывателей, но никогда не принимала ни малейшего участия в каких-нибудь грязных историях.

Как-то одно время Бася ненадолго исчезла из города и затем вернулась с маленькой внучкой Фрумой. С этих пор вместе с Басей по домам стала ходить смуглая хорошенькая девочка с бархатными черными глазами, одетая несколько пестро, но очень оригинально, в лучшие отрезки Басиных тканей. На шее у нее висели несколько ниток жемчугов и кораллов, а черные, как смоль, волнистые волосы были перехвачены красивым металлическим обручиком. Пока Бася вела свои разговоры, а дамы любовались щелками, — девочка жалась к коленям бабушки, ласкаясь, как кошечка. Бася любовно проводила рукой по блестящим волосам. Дамы также часто ласкали хорошенькую евреечку, и скоро Фрума стала необходимой принадлежностью Баси, как ее узел, завернутый всегда в чистую парусину, с таким восхитительным содержимым.

В еврейской среде Бася пользовалась большим почетом. Говорили, что она происходит из очень хорошего рода, что она очень богата, хотя и носит сама свой узел по городу, и что внучку ее ждет завидная судьба.

Как-то незаметно маленькая Басина внуч-

ка подросла, и уже в последний год нашего пребывания в гимназии она перестала ходить с Басей по домам. Говорили, что она «уже учится». Кто ее учил и чему — мы не знали; повидимому, воспитание было чисто еврейское, но, посещая с Басей христианские дома, она научилась говорить по-польски и по-русски довольно чисто, только как-то особенно, точно урчащая кошечка, грассируя звук — р.

Теперь, когда мы приехали на каникулы, к нам с Фроимом и Маней, его сестрой, пришла и смуглая девочка, в которой я не сразу признал Васину внучку. Она держалась с нами несколько застенчиво и не дичилась только Фроима, который обращался с нею с ласковой фамильярностью.

— Рекомендую-моя невеста, — сказал нам Фроим, обнимая девочку за талию. Не думайте, пожалуйста... Я не шучу. Правда, Фрумочка: мы ведь с тобой жених и невеста? Да?

Фрума потупилась с улыбкой и сказала тихо таким тоном, как отвечают в веселой игре:

— Да...

— Вы ее узнаете, конечно, — продолжал

Фроим, — это ведь Басина внучка, зовут ее Фрумочкой, но это недоразумение: в сущности она Ревекка... А я кто? Ну, говори же, Фрумочка! Что ты точно онемела?

— Айвенго! — сказала девочка и, вырвавшись от него, перебежала к моей сестре...

— Вот видите, — сказал Фроим с торжеством, — мы тут уже прочитали «Айвенго», и я нахожу, что она настоящая Ревекка.

— Ривка, Ривке-е... фи! — протянула на еврейский лад моя сестра. — А затем, позвольте вам сказать, Фроим, что если вы Айвенго, то он был христианин, и ему нельзя быть женихом Ревекки.

— Ну, нас с Фрумочкой такие пустяки не могут смутить; правда, моя Ревекка?

Но Басина внучка кинула на него быстрый, смеющийся взгляд и, схватив за руки подруг, увлекла их за собою в аллею. Фроим весело светящимся взглядом смотрел вслед убегающим девочкам.

Следующий год внес в наш маленький кружок значительные перемены. Прежде всего Маня Мендель вышла замуж. Узнав об этом, мы очень удивились. Ей было еще толь-

ко шестнадцать лет. Но в еврейской среде такие ранние браки тогда были совсем не редкость. Женской гимназии в городе не было, не было, значит, и поводов для споров между супругами Мендель о системе воспитания. Маня Мендель приобрела манеры и внешний лоск ее матери; ее учили языкам, истории и еще кое-чему русские учителя, но и только. Подходящих женихов в нашем городе для нее не было, но раз по какому-то делу приехал старый еврей из Галиции со своим молодым сыном. Отец был старозаветный, сын ходил в европейском костюме, был красив, неглуп и манерами резко выделялся среди N-ских кавалеров. С Менделями они оказались родственниками, и дело сладилось в наше отсутствие. В городе из нашего молодого кружка был только Фроим. Он был против этого брака и не скрывал этого. Быть может, тут играло некоторую роль сочувствие к Дробышу, так как для нас не было тайной, что с того самого дня, как «хорошенькая жидовочка» назвала его «невоспитанным», — наш развязный товарищ относился к ней особенным образом. Он не думал, что может выйти из этого чув-

ства, и с беспечностью юности отдавался ему. Когда, порой, я, шутя, заговаривал с ним об этом, он встряхивал головой и говорил: «Как-нибудь будет». А пока он давал Мане книги, которые говорили о свободной жизни и о вреде предрассудков... Маня читала книги, порой рассуждала «совершенно здраво»; общество веселого и умного Степы было ей приятно. Но красивая головка держалась все так же надменно и «здравые суждения» оставались явной отвлеченностью. Когда явился молодой Зильберминц, она, кажется, и не вздохнула ни разу о бедном Степе.

Фроим сообщил нам об этом событии за несколько дней до свадьбы. «Пока мы читаем и рассуждаем, — писал он, обращаясь к Дробышу, — «старая жизнь» делает свое дело. Ты думал, что можно рассуждать вечно, а Зильберминц действовал. Маня для нас потеряна: она уходит в другой, старый, «не наш» мир. Жаль. Девочка умная...»

Дробыша сильно поразило это известие, и — чего с ним не бывало раньше — он сначала загрустил, потом закутил... Все это прошло, но на лице Дробыша долго еще лежала ка-

кая-то тень; в двадцать лет он казался уже совсем серьезным, взрослым человеком. В наших беседах он теперь часто и с большой горечью нападал на «условности и предрассудки, коверкающие жизнь».

Впрочем, все мы понимали, что дело тут не в одних предрассудках и что шансы нашего бедного друга были вообще довольно слабы. Он был еще начинающим студентом, почти «мальчиком», когда рано созревшая Маня стала взрослой барышней и невестой. В последнее время на ее надменных губках все чаще и чаще являлась в присутствии «Степы» благосклонно-снисходительная улыбка.

Эта опасность, повидимому, не грозила Фроиму. Васина внучка была моложе его и казалась по временам совсем ребенком. Планы Фроима не могли считаться совсем несбыточными, и г-жа Мендель относилась к ним с полупуточным поощрением. Родство с Басей представлялось ей довольно подходящим. Бася была из очень хорошей семьи, и у нее были почетные родственные связи. Фрума могла стать богатой невестой. В свою очередь г-жа Мендель имела основание считать и род-

ство со своей семьей почетным для Баси. Они не особенно богаты, но Фроим на хорошей дороге. «Он непременно будет доктором, а при его способностях...» г-жа Мендель была уверена, что он станет доктором знаменитым...

Сам Фроим, правда, не особенно мечтал о медицине. Он писал стихи, играл на флейте и с увлечением занимался всякого рода спортом. Он еще не сделал выбора карьеры. Его пылкое воображение носилось еще в мире волшебных возможностей, и ему было жаль остановить выбор на чем-нибудь одном. Одно — это одно, определенное и узкое. Сделать выбор — значит отказаться от всего остального. И он беззаботно носился по городу, шутиливо обнимал Фруму, читал ей книги и, по вечерам неожиданно являясь на наши чтения, производил беспорядок в ходе наших занятий неожиданными выходками и спорами.

Так шли дела, когда однажды в жаркий летний полдень, в начале каникул, я шел с Фроимом и Израилем по улице города, невдалеке от Васиного дома. В перспективе улицы, в направлении от бывшей «заставы», показалась странная колымага архаической наруж-

ности с крытым верхом. Она была запряжена тройкой худых почтовых лошадей и вся покрыта густым слоем пыли, которая лениво моталась над кузовом, подымаемая ногами кляч.

Седоки, очевидно, были «почетные». Ямщик был в «параде», то есть в черном армяке и в шляпе с огромной бляхой. Рядом с ним сидел молодой еврей в долгополом кафтане, перевязанном в талии белым платком. Из-под закинутой почти на затылок круглой шляпы виднелись пейсы.

Мы шли по площади беззаботной гурьбой, когда Фроим указал на колымагу и глаза его заискрились весельем:

— Посмотрите, вот ковчег нашего праотца Ноя.

«Ковчег» казался сильно нагруженным: в окно виднелось несколько голов, сбившихся в кучу. Все были евреи.

Ковчег вдруг качнулся на круглых высоких рессорах и остановился. Молодой еврей заговорил о чем-то с ямщиком, ерзая на козлах и жестикулируя. Ямщик лишь в недоумении пожимал плечами.

Стеклянное окно открылось. Из него до половины высунулся солидный еврей лет сорока и спросил, в чем дело. Потом он опять нырнул в ковчег, и на его месте в окне показалось новое лицо.

Это был человек неопределенного возраста, с чертами, привлекавшими невольное внимание. По лицу пергаментного цвета проходили резкие морщины, но большая борода, окладистая в начале, очень длинная и остроконечная в конце, была черна, как смоль. Глаза были необыкновенно живы и блестящи, и взгляда их нельзя было не заметить или забыть. Мы невольно остановились на тротуаре.

Человек оглянулся кругом. На небольшой площади было почти пусто, и наша небольшая группа привлекла его внимание. Он просунул в окно тонкую, желтую руку и поманил нас к себе.

Мы подошли втроем. Возня на козлах совершенно стихла, и весь ковчег как будто застыл. Все сидевшие в нем точно затаили дыхание, следя за происходящим. Как будто было что-то особенное в том, что этот человек с

яркими глазами сам остановил на нас внимание. Даже ямщик, с поднятым кнутом в руке, через плечо оглядывался назад с видимым любопытством.

Человек заговорил по-еврейски несколько глухим, но очень внятным все-таки голосом. Я разобрал, что он спрашивает, где заезжий двор Коген-Эпштейн.

Израиль оглянулся с недоумением, но Фроим вдруг точно спохватился.

— Знаешь, Израиль, — сказал он по-русски. — А ведь Эпштейн — это фамилия Фрумочки. Так зовут и Басю...

— Вам нужно Басю? Так бы и говорил! — оживился ямщик, с упреком повернувшись к своему экспансивному соседу на козлах. — Басин двор — вон он налево. Басю мы знаем... — И он хлестнул лошадей.

Колымага тронулась, потом качнулась назад и стала. Лошади, очевидно, устали тащить перегруженный ковчег. В это время важный седок окинул нас своим пронизывающим взглядом и спросил:

— Зи зинд иде?.. (вы еврей?)

— Их бин иде (я еврей), — сказал Израиль.

— Я не еврей, — ответил я по-русски. Фроим промолчал. Черные глаза смотрели на него в упор.

— А ты? Ну!.. Не говори ни слова! Я вижу: ты тоже еврей! Почему же ты промолчал? Разве ты не знаешь: иной раз умолчание равносильно отречению... Рэб Иоханан бен Закай...

Но тут лошади вняли, наконец, очень ревностным понуканиям ямщика, и ковчег тронулся таким резким толчком, что борода говорившего судорожно мотнулась и скрылась в глубине ковчега. При этом мы успели заметить, что он сидел на заднем сидении один, тогда как остальные три его спутника жались самым неудобным образом на передке.

В это время из двух соседних заезжих дворов ринулись стремглав два мишуреса, — род факторов, очень популярный в местечках того края. Оба они одновременно схватили лошадей с двух сторон под уздцы и с опасностью опрокинуть коляску стали заворачивать их в другую сторону. Молодой еврей на козлах выхватил у ямщика длинный кнут и стал неистово хлестать, задевая то одного, то дру-

того мишуреса. Но на них это не производило ни малейшего впечатления.

Тогда он выкрикнул несколько слов по-еврейски.

Оба мишуреса вдруг точно окаменели с выпученными глазами. Потом, спохватившись, в каком-то торжественном согласии повели лошадей по направлению к Васиному двору. В то же время мишурес Баси мчался через площадь журавлиными шагами с развевающимися полами лапсердака. Узнав, в чем дело, он ринулся вперед, и широкие ворота Васиного двора раскрылись настежь. Сильный толчок, ковчег закричал, качнулся и потонул в воротах. И тотчас же они спешно закрылись, точно опасаясь, что кто-нибудь может еще лишить Басю ее драгоценных постояльцев.

— Израиль, ты слышал? — спросил удивленный Фроим.

— Да, я слышал, — ответил тот. — Это приехал рэб Акива...

— Кто такой этот рэб Акива? — спросил я.

— Он не знает, кто такой рэб Акива! О, амгаарец! — сбалаганничал Фроим. Рэб Акива

первый цадик из самого Львова... О, вай, вай! Какой это человек... Ученый! Святой! Пророк... Мм-м... ц-цы, ц-цы, цир... А видел ты: когда Ноев ковчег тронулся, он все-таки упал навзничь, как самый простой человек, и, пожалуй, набил себе шишку!..

Израиль пытливо, почти с любопытством посмотрел на брата и сказал мне:

— А знаешь, почему он так балаганничает? Сознайся, Фроим: он смутил тебя. Ведь ты действительно собирался сказать, что ты не еврей... Правда?.. Для чего?

— Ну, хотя бы для того, — ответил Фроим, — чтобы слава великого Акивы бен Шлайме Львовского воссияла и на N-ской площади. Разве можно обмануть рэб Акиву?.. Мне самому было любопытно посмотреть, как подомной раскроется мостовая и земля поглотит меня, как Корея...

Израиль усмехнулся и сказал:

— А все-таки у тебя лицо красное... Тебе было стыдно.

Фроим пожал плечами, но я видел, что Израиль прав. Лицо Фроима покраснело еще больше.

Между тем на площади начиналось движение. Когда оба мишуреса, как сумасшедшие, выскочили из дома Баси и побежали к своим дворам, оттуда стали появляться люди, быстро пробежавшие из дома в дом, исчезающие в соседних улицах и переулках. От двора Баси возбуждение разливалось по городу, разнося великую новость: рэб Акива находится в N...

Через четверть часа на площади стали появляться евреи, и скоро кругом Васиного дома кишела толпа, напоминая встревоженный улей, в котором пчелы покрывают матку... Откуда-то стремительно прибежали трое городских и, протиснувшись к крыльцу и воротам, стали оттеснять толпу. Лица у городских были красны, глаза выпучены и испуганы, голоса скоро охрипли... В нескольких местах евреи приставляли лестницы, и уже несколько фигур лепились, как муравьи, на карнизах второго этажа. В окнах противоположных домов тоже толпились зрители, надеявшиеся хоть издали увидеть великого цадика. Прислуга Баси наскоро закрывала ставни, и какая-то толстая еврейка, которой при

этом мешали, ругалась и кричала, точно на пожаре. Вокруг заезжего двора поднимался многоголосый гул, из которого то и дело выносились исступленные, почти истерические выкрики. И трудно было разобрать, что звучит в них, отчаяние или восторг.

Через некоторое время по площади продребезжали колеса пролеток. Несколько почетных евреев сошли с них и вмешались в толпу. Их пропустили к крыльцу, и вскоре над толпой появилась седая голова какого-то патриарха. Он говорил что-то, но так тихо, что его могли слышать лишь самые ближайšie. Голова его качалась, длинная борода тряслась, и, кажется, он плакал. Потом его место занял другой. Тот говорил очень громко, но слишком быстро: слова летели, точно поток, нагоняя друг друга и по временам подымаясь на высочайшие ноты. Повидимому, он убеждал толпу вести себя спокойно, но его возбужденная речь производила обратное впечатление.

Кругом площади, на узких тротуарах стояла толпа, состоявшая по большей части из христиан. Кое-где виднелись синие мундиры гимназистов. Настроение здесь было частью

спокойно-насмешливое, но больше любопытное. Мы втроем стояли тут же, и скоро к нам подошли еще несколько товарищей. Были и евреи. Фроим, как всегда, стал центром. Он приводил анекдоты о цадиках из «Записок еврея» Богрова. В них с юмором и желчью еврей-прогрессист высмеивал цадику и темную массу их поклонников... В нашей кучке порой раздавался смех. Израиль относился к поведению брата с видимым неодобрением.

— Оглянись, Фроим, — сказал он. Фроим в это время стоял спиной к Васиному двору...

На крыльце теперь виднелась над толпой красивая фигура Менделя-отца. Его голос, уверенный, плавный и звонкий, раздавался ясно над толпой. Можно было понять, что он тоже призывает толпу к спокойствию. Уважаемый рабби на этот раз не может остановиться в городе («О, вай-вай!» — горестно пронеслось над толпой). У него важные дела, которые, может быть, касаются не одного нашего города («О, вай-вай!»-опять точно вздохнула толпа, но теперь это было признание великой важности дела, которое призывает рабби)... Разве мы знаем, к кому он едет? (Опять вздох и чмо-

канье.) Надо дать почтенному рабби спокойно уехать, без суеты и беспорядка. А пока почетные люди из общества пройдут к нему и выразят чувства, которыми охвачено все население...

Опять многоголосое жужжание и резкий истерический выкрик. Около стен Васиного дома стало просторнее, и еще несколько уважаемых граждан поднялись по ступенькам. Дверь на крыльце открылась, — сотни голов вытянулись, заглядывая на лестницу, по которой «почетные» поднялись на верхний этаж. Водворилась торжественная тишина... Точно депутация понесла с собой судьбы города на милость и немилость...

Прошло еще полчаса. Ко двору подоехал ямщик верхом на лошади, ведя в поводу еще пару. Потом ворота внезапно раскрылись, и ковчег выехал из них неожиданно быстро. В толпе опять пронесся вздох, за которым слышался беспорядочный говор, жужжание и выкрики. Коляска повернула на шоссе, сопровождаемая бегущей толпой. Евреи догоняли ее, некоторые хватались за рессоры, спотыкались, падали, на них набегали другие, тоже

падали, подымались из пыли и мчались опять. И весь этот клубок грохота, пыли, высоких надрывающихся воплей, топота испуганных лошадей, дребезжания колес и взвизгивания колокольчика пронесся и исчез за углом. На крыльце дома Баси виднелась седая голова патриарха, и рядом г-н Мендель кричал что-то вдогонку, как будто заклиная неистовство толпы. Потом он смолк и стал обтирать платком взволнованное лицо.

Всем нам было странно видеть это волнение всегда степенного и солидного г-на Менделя. Израиль смотрел на отца с любопытством. На лице Фроима виднелось выражение досады.

— Охота была отцу, — сказал он, когда мы опять только втроем шли по пустеющим улицам. Лицо Израиля вспыхнуло.

— Что ты хочешь? — спросил он, и акцент в его речи послышался сильнее. Ты не знаешь, что твой отец еврей?.. И что он никогда от этого не отречется, как ты? Для него это не шутка, а вера.

Глаза Израиля, черные и глубокие, сверкали, картавил он сильнее обыкновенного, и

нижняя челюсть у него выдвинулась. Фроим остановился и тоже посмотрел на брата загоревшимся взглядом.

— Что ты меня упрекаешь моей шуткой!.. Пошутить над шарлатаном-цадиком — это значит отречься?.. По-твоему: да? Скажи: да?

Видя, что между братьями готова вспыхнуть резкая ссора, я взял Израиля под руку и сказал, шутя:

— Ну, Израиль, я не знал, что ты такой хусид!.. А знаете что: глаза у него все-таки замечательные, и, признаюсь, — на меня вся эта сцена произвела впечатление, хотя я и не еврей...

— Потому что это вера, — серьезно сказал Израиль.

— Твоя вера? — уже шутя и довольно добродушно спросил Фроим.

— Вера твоего отца и матери... И еще миллионов людей... — уже чисто по-русски и без интонации ответил Израиль.

— Неужели правда, — спросил я, — что этому цадику около восьмидесяти лет, как говорили в толпе?

— Ну, что ты говоришь?-сказал Фроим.-Во-

семьдесят!.. Пхэ... Ему тысяча лет. Когда Иезекииль воскресил мертвых в долине Дейро, то многие вошли в Иерусалим, поженились и имели потомство. Рэб Акива из этого поколения, и у него есть «мезузе» от одного из воскресших. Спроси у Израиля. Он знает эту историю...

Он посмотрел на брата с веселой усмешкой. Но Израиль не слышал. Он шел с нами рядом, и на лице его было выражение глубокой задумчивости, как будто он решал в уме сложную задачу.

— Ну, думай, думай, только не спи, — заключил Фроим и остановил меня за руку. Нам следовало уже свернуть, но Израиль шел прямо с тем же задумчивым видом, и Фроиму пришлось громко позвать его:

— Израиль, мешигинер!..[4] Куда ты?..

Все это было уже давно, во времена моего далекого детства, но и до сих пор во мне живы впечатления этого дня. Я будто вижу нашу площадь, кишачую толпой, точно в растревоженном муравейнике, дом Баси с пилястрами на верхнем этаже и с украшениями в особенном еврейском стиле, неуклюжую громозд-

кую коляску на высоких круглых рессорах и молодые глаза старого цадика с черной, как смоль, бородой. И еще вспоминается мне задорный взгляд моего товарища Фройма Менделя и готовая вспыхнуть ссора двух братьев.

После этого еврейское население города долго не могло успокоиться. Ходило много разговоров о причинах внезапного появления рабби Акивы в нашем городе. Фроим укладывал нас в лоск, передразнивая городские толки.

— Куда он поехал? Ну, вы не знаете, куда?.. В самый Петербург... К министру... Ну, что вы! К какому там министру!.. Разве вы еще не знаете?.. К самому царю... Царь узнал, что рабби Акива обладает даром пророчества, и пожелал увидеть его лично... Зачем? Ну, мало ли у царя дел, о которых надо посоветоваться? Разве Иосиф не объяснил фараону сон? А рабби Акива... Он знает все... Как только он воехал в город, так сейчас лошади сами повезли его к дому Баси. Что? Вы думаете, он спросил, где двор Баси? Пхэ! Зачем ему спрашивать, когда он знает, что в каждом доме подавали на стол в последнюю субботу!.. Ну, и

опять же Бася!.. Вы думаете, это простая сэбе еврейка и больше ничего?.. И о ней никто не знает во Львове?..

Действительно, репутация Баси сильно поднялась после этого посещения, и даже дамы приставали к ней с расспросами: почему цадик заехал именно к ней? Но Бася хранила дипломатическое молчание или отвечала самым невинным тоном:

— Ну, как это может быть? Откуда ему знать о такой бедной еврейке, как Бася?.. Увидел мой дом... Ну, он-таки немного лучше, чем у Густы, или у Иты, или у Мойше Шмулевича... Зачем ему непременно остановиться в какой-нибудь дыре, когда есть отличное помещение? Ну, может, он и сказал: «Вот я себе хочу здесь отдохнуть...» Что тут удивительного?

По городу в сотнях вариантов ходили изречения великого цадика, сказанные во время короткого пребывания в доме Баси. Он погладил Фруму по голове и сказал: кто ее отец, и мать, и тетки... Как будто он всех их знал. Старика патриарха Лейбензона он даже обнял, а Менделю сказал что-то, что никто не мог пе-

редать точно. Одни говорили, что он упрекал его за то, что отдал сыновей в гимназию и что из них выйдут «апикойрес». Другие передавали, что, наоборот, он отозвался об одном из них чрезвычайно лестно, назвал даже будущей звездой во Израиле... Только неизвестно было, о котором. Одни называли Фроима. Другие, наоборот, говорили, что Фроим выйдет апикойрес, а звездой станет старший.

Дядя с большим интересом расспрашивал Менделя-отца, но, несмотря на всегдашнюю откровенность с дядей, Мендель на этот раз отвечал сдержанно. Он говорил только, что рабби Акива человек действительно замечательный, что он написал несколько трактатов, напечатанных в Австрии, и у него, г-на Менделя, висит на стене гравированный портрет рабби Акивы... Разве стали бы печатать портрет заурядного человека?.. А что он говорил о нем, Менделе?.. Ну, что ему говорить особенного о скромном учителе...

Но при этом лицо г-на Менделя казалось печальным и озабоченным. Впрочем, может быть, для этого были у г-на Менделя и другие причины...

Однажды, когда мы сидели у себя втроем, — дядя прислал за мною и пригласил также моих товарищей.

В кабинете мы застали и г-на Менделя. Он проводил ладонями по своей шелковистой бороде, и на лбу его виднелась глубокая морщина. Дядя имел тоже озабоченный вид. Когда мы вошли в кабинет, он запер за нами дверь и спустил гардину. Потом уселся в кресло и некоторое время задумчиво играл ножом для разрезывания книг. Потом, взглянув на нас, он сказал, обращаясь к Менделю-отцу:

— И Фроим здесь? Я думаю... Фроиму еще рано... Он еще мальчик... Или вы думаете, что следует говорить при нем?

Г-н Мендель кивнул головой.

— Ну, хорошо... Видите ли... Мы узнали... Но только, пожалуйста, чтобы это осталось между нами. Даете слово?

Я дал слово за товарищей.

— Мы узнали... Господин Мендель и я... Откуда, — это все равно... Во всяком случае, под честным словом, — что за всеми вами, за всем вашим кружком установлен надзор... В столице и здесь...

Дядя испытующе посмотрел на нас и продолжал:

— Тот, кто нам сообщил это, не знает точно, в чем дело, но говорит, что это что-то... противоправительственное, политическое... Впрочем, я не допускаю, чтобы это было что-нибудь серьезное, и не стану допытываться. Вероятно, какие-нибудь студенческие дела. Не правда ли?.. Скажу только, что вам, с одной стороны, еще рано заниматься политикой... с другой — вы достаточно взрослые, чтобы понимать, что с этим нельзя шутить... Так вот, мы вам сообщили. Я надеюсь, вы будете осторожны.

Он смолк и посмотрел вопросительно на Менделя-отца. Мой дядя был человек умный и считал, что говорить больше, допрашивать, требовать обещаний — было бы бестактно и ни к чему не приведет с молодежью. Сам он когда-то участвовал в истории, повлекшей за собою закрытие киевского университета, и как-то в разговоре сказал вскользь, что не жалеет об этом. Сколько можно было судить по его рассказам, которые я слышал лишь вскользь и отрывками (рассказывая об этом

гостям, дядя всегда высылал меня из комнаты), — дело шло об «оскорбленной чести студенчества». Студент, на которого бросилась на улице генеральская собачка, пнул ее ногой. Генерал оскорбительно разругал его и велел отправить студента в кутузку... Университет заволновался. Студента отпустили, но молодежь требовала удовлетворения. В этом было отказано... Дальше в моей памяти сохранились лишь отрывки. Генералу при разезде из театра подали карету... На козлах вместо кучера и лакея сидели переодетые студенты... Карета тронулась... Супругу генерала очень вежливо, чисто по-рыцарски пригласили выйти... генерала повезли дальше... Меня на этом интересном пункте удаляли...

Лицо дяди при этих воспоминаниях освещалось какой-то особенной улыбкой. Они, очевидно, доставляли ему удовольствие.

— Что делать! Молодость всегда молодость... Она ценит честь и готова на риск... Пушкин сказал: «Блажен, кто с молодости был молод...»

И теперь на красивом лице дяди было выражение снисходительного предостережения.

Лицо г-на Менделя было более озабоченно и задумчиво. На его лбу меж бровей лежала глубокая поперечная складка.

— Я тоже скажу вам, молодые люди, несколько слов, — начал он. — Никогда не надо идти против властей, поставленных царем. Это ведет к несчастью не только для вас, но и для ваших близких. Особенно должны этого остерегаться мы, евреи. Много раз уже мы были в беде... Ну, что нас всегда спасало? Мудрость вождей, учивших народ покорности... Чем Дониейль приобрел такую силу перед царем?.. А Иеремосу?.. Почему персидский царь позволил возобновить храм, чтобы Израиль ожил опять?.. Потому что он знал: писание учит евреев почтению к власти.

Лицо Менделя-отца приняло выражение торжественное и мечтательное.

— Вы, мои дети, должны помнить из талмуда историю Бавы-бен-Бута. Нет? Забыли уже Баву-бен-Бута... Ай-ай-ай... — сказал он с горечью. — А между тем талмуд — мудрая книга. Прежде великие европейские философы нарочно изучали еврейский язык, чтобы читать Библию и талмуд по-еврейски. И когда

проклятый Пфефферкорн восстал на талмуд и требовал, чтобы все его книги сжечь рукой палача, то разве против него не вооружились великие христианские ученые? И они доказали, что в талмуде есть много мудрости не для одних евреев... А Бава-бен-Бут? Ну, вот я вам расскажу, кто такой был Бава-бен-Бут. Он был мудрец, наставник народа, пориш — при царе Ироде. Много было учителей, но Бава-бен-Бут был самый мудрый. И сам царь часто с ним советовался. Но пришел такой день... Ирод рассердился на всех еврейских книжников. Почему рассердился? А потому, что прочитал в писании: «Из среды братьий своих пусть Израиль поставит себе царя». Он спросил: что это значит? Это значит, что народ должен выбирать себе царя из простых людей. А он считал, что царь должен быть царского рода... Ну, — что делать: писание есть писание, тут нельзя изменить ни одного знака. А он себе подумал: «Вот чему они учат темный народ. Это — бунтовщики!» И он приказал перебить всех учителей закона. Но бен-Бута оставил. Почему оставил? Он сказал себе: «Если я убью Баву, — кто мне даст при надобности хоро-

ший совет? Оставьте бен-Бута... Только выколите ему глаза, чтобы он не мог читать. А давать хорошие советы можно и без глаз...» Ну, хорошо. Выкололи Баве глаза... И еще Ирод говорит себе:

«Вот теперь я узнаю правду. Надо еще более рассердить слепого Баву. Приставьте Баве пьявки кругом головы и уйдете все...» Вот сидит Бава-бен-Бут один, слепой, и пьявки пьют из него кровь..

Голос Менделя-отца слегка дрогнул. Израиль слушал с серьезным и заинтересованным видом. Лицо Фроима выражало равнодушие. Он вспомнил агаду, но мораль ее, повидимому, ему не нравилась. Быть может даже, он уже пародировал ее в уме. Но отец этого не видел. Инстинктом рассказчика-художника он чувствовал, где самый внимательный его слушатель, и повернулся в сторону дяди, который, опершись на ручку кресла, очевидно, ждал конца.

— Что же вы себе думаете... Сидит бен-Бут, как Иов, и молится. Ну, может быть, плачет. Кто пришел к Иову, когда он сидел на навозе? Пришли к нему друзья и стали говорить: «Ви-

дишь ты, что сделал над тобою бог?» А к Бава пришел царь Ирод... Царь Ирод думает себе: «Вот теперь Бава слепой, Бава сердит на меня. Я узнаю от него правду». Прикинулся простым себе евреем и говорит:

— Ну, бен-Бава! Видел ты, что сделал над всеми вами этот царь... Этот дикий зверь...

Что же ответил Бава? Он говорит: «Все от бога. Если так захотел царь, что же я, бедный еврей, могу сделать...»

— Прокляни его! Разве проклятие праведника ничего не значит?

— Я человек писания, — отвечает Бава, — а в писании сказано: «Даже в мыслях своих не кляни царя».

— Ну, что ж такое? Это сказано о царе, избранном из народа... А этого беззаконника ты можешь проклинать.

Послушай, Бава! Мы тут только вдвоем... Никто не услышит.

— Птица небесная услышит, на крыльях перенесет. Нельзя Баве нарушить заповедь...

Услышал это царь, и сердце его опечалилось... «За что же я пролил кровь этих учителей, если они и все такие, как Бава?» Открыл-

ся он бен-Буту и говорит: «Вижу я, что сделал великий грех... Погасил свет в глазах твоих». А Бава, великий мученик, отвечает: «Заповедь-мне светильник. Закон — свет...» Царь спрашивает: «Что же мне теперь сделать, как искупить грех, что я убил столько мудрых?» А Бава опять отвечает: «Ты погасил свет Израиля. Зажги опять свет Израиля».

Рассказчик обвел нас всех своими глубокими глазами и сказал торжественно:

— Что же из этого вышло? Вышло то, что он отстроил храм Иерусалимский в прежней славе... Так вот чему учит наш талмуд: даже в мыслях еврей не должен идти против власти. И это всегда так было. Вожди Израиля:

Иозейль разве не служил верно фараону? А Дониейль — персидскому царю? А Иеремосу — вавилонскому? Они знали науку своего времени, но никогда не забывали заповеди своего закона... И я хочу, чтобы вы, мои дети, тоже учились светской мудрости в гимназии, но не стали бы апикойрес, не забыли бы заповедей своего закона...

Когда мы вернулись из кабинета дяди в свою комнату, Дробыш почесал с комичным

видом свою буйную русую шевелюру и сказал:

— Притча интересная... И это верно: философия этого бен-Бавы была очень удобна для Иродов. Но... какой это дьявол донес на наши петербургские собрания?..

И мы стали обсуждать этот житейский вопрос, забыв злополучного Баву-бен-Бута. Но я уверен, что в кабинете дяди поучительный разговор продолжался и вопрос исчерпывался с евангельской и талмудической точек зрения.

Скоро и практический вопрос, поставленный Дробышем, отступил перед другими злобами дня, сильно задевшими наш дружеский кружок с совершенно неожиданной стороны.

После посещения великого цадика Акивы прошло несколько недель. По городу вдруг пронесся слух, будто Бася сосватала свою внучку. И будто это сватовство имеет какую-то косвенную связь с приездом цадика, вернее — одного из его почтенных провожатых, рэб Шлойме Шкловского...

Однажды я проходил через комнату, соседнюю с спальней тетки, у которой в это время

была Бася, недавно получившая «новую партию». И я услышал, как тетка, предложившая Басе какой-то вопрос, вдруг вскрикнула почти с испугом:

— Бася! Да вы с ума сошли! Побойтесь бога! Ведь она еще совсем ребенок!

— Ну, — ответила Бася своим спокойно-уверенным голосом. — Мы, евреи, всегда боимся бога... Разве я что знаю? Разве я что хочу?.. Я знаю только одно: Фруму нельзя отдать за первого встречного... А это такая партия, такая партия... Это, верно, нам послал бог...

Я невольно приостановился и стал слушать продолжение разговора.

— Но я вам говорю, — волновалась тетка, — ведь она совсем ребенок!

— Ну... Что из того? Это у вас нельзя! У нас можно. Вы думаете, я вышла за своего покойного мужа старухой: я была такая же, как теперь Фрума.

Она помолчала, и когда заговорила опять, в ее голосе слышалась улыбка.

— Вы же знаете-он был много старше меня и вдовец. И такой ученый, такой ученый...

Бывало, день и ночь все читает... И когда моему отцу сказали: «Вот... надо... ему жениться... Отдай ему свою дочь»... то отец очень обрадовался... «Такая большая честь нашему дому!» А я совсем-таки ничего не понимала, ну... ребенок! Мать говорит отцу: «Мне жалко... Я хочу для моей Баси меньше тестя, но немножко больше счастья. Ведь у него, от его великой учености, не было даже детей от первой жены». Ну, вы думаете, отец послушался? Он сейчас же согласился, и меня заручили... И что же вы думаете: я жалею? Ну, я жалею только, что он скоро умер и что у меня был только один сын, и тот умер... Разве можно знать, что назначил бог?.. Разве мы знаем, когда пора и когда не пора?.. И что вы, извините меня, тоже можете знать?..

— Но мы все думали, что вы породнитесь с Менделями. Была бы такая хорошая пара! Найдете ли вы более почтенную семью?

Бася издала пренебрежительное: "пхэ! И потом пояснила:

— Мендель? Ну, он почтенный человек, это правда, но разве нет еще лучших людей, чем Фроим? Нужно непременно апикойреса!

— Это вы повторяете слова этого вашего цадика?..

— Ну, что я знаю? Сказал он такие слова или не сказал? Когда одни говорят, что сказал, а другие: не сказал. Но если уже есть сомнительность... А Фрума — она из такой семьи... Я же говорю: вы этих наших дел не можете понимать...

И разговор перешел на цену шелковых тканей...

Опять в город вОехала коляска с иногородними евреями. Она была не такая монументальная, как та, что привезла рабби Акиву, и много новее. В ней, кроме ямщика, сидели три человека внутри и один на козлах. Теперь, никого уже не спрашивая, — прямо подОехали к крыльцу Баси.

Молодой еврей, сидевший на козлах, был тот же, что приезжал с рабби Акивой. Он проворно соскочил и открыл дверцу.

Первым вышел пожилой брюнет, одетый по-старинному, но очень опрятно. Другой был похож на первого, только помоложе. Движения их были медлительны и важны. Выйдя из коляски, оба повернулись к третьему, оста-

вавшемся пока в сидении.

Это был молодой человек лет двадцати. Лицо у него было изжелта-бледное. На голове была надета бархатная шапка в форме берета, но с козырьком, и из-под нее виднелись края ермолки. Длинные завитые локонами пейсы свисали по сторонам.

Он продолжал сидеть на месте, не замечая, как будто, остановки. Черты его лица были тонки, глаза, довольно красивые, глядели вперед с таким видом, точно этот юноша спит с открытыми глазами и видит какой-то сон. Был неприятен только нездоровый желтый цвет лица.

Его спутники молча поглядели на него несколько секунд и старший окликнул осторожно:

— Лейбеле?

— Ву-ус? — отозвался тот, точно на зов издалека. Потом очнулся, увидел, что коляска стоит на улице города, и на мгновение в лице его появилось выражение беспомощной растерянности. Но затем взгляд его упал на ожидающих спутников, и в лице явилось радостное выражение, как у ребенка, которому про-

тягивают руку. И, действительно, оба старших еврея приготовились принять его, как только он ступит на землю.

Сходя с подножки, он наступил на длинную полу своего кафтана и чуть не упал. То же повторилось, когда он стал подыматься на ступени. Спутники подхватили его под руки и почти внесли на подОезд, так бережно, точно это был хрупкий сосуд с драгоценной жидкостью.

Эту сцену, кроме меня, наблюдали еще несколько человек, случайно оказавшихся около дома Баси. Когда за приехавшими захлопнулась дверь, один из зрителей, рыжий Лейзер, служка из синагоги, оглядел остальных и издал характерное восторженное восклицание... Глаза его совсем сощурились от восторга, и, сложив пальцы щепотью, он поднес их к губам и несколько раз вкусно чмокнул... Затем он заговорил что-то быстро и возбужденно. Он был человек, как бы то ни было причастный к синагоге, и, повидимому, сразу узнал в приехавшем молодого ученого, внешность и манеры которого отвечали всецело его эстетическим идеалам. Он говорил скоро-

говоркой, то и дело восторженно и вкусно чмокая...

— Ой, вай! Ццы, ццы, ццы... — вторили и зрители, расходясь с чрезвычайно удовлетворенным видом...

В этот день я не видел никого из нашей компании. Ночь я проработал долго, так как мне предстоял осенний экзамен, и проснулся очень поздно. Мне сказали, что Дробыш и Фроим забегали за мной и отправились в лодке на тот берег озера. Барышня тоже с ними. Если я захочу, то могу найти их у моста.

С балкона второго этажа было видно озеро. Я поднялся туда, чтобы посмотреть, не плывут ли они уже обратно, и увидел под дальним берегом лодку, которая двигалась по направлению к нашему берегу. Две пары весел быстро взмахивали, как крылья торопливо летящей птицы... Взглянув на горизонт, я понял причину этой торопливости: далеко за окраинами города, за шляхом и полями — с утра лежала большая туча. Теперь она сдвинулась и неслась по направлению к городу, клубясь и вздымаясь все выше. Деревья вдоль шляха быстро и тревожно метались, нагибая

вершины, и по шляху неслась точно пыльная метель. Где-то еще далеко глухо ворчал гром...

Лодка была еще только на середине, когда туча закрыла солнце, озеро потемнело, солнечные лучи просвечивали лишь сквозь края облаков, рыжих и растрепанных. На все легли опаловые оттенки. Рванулся ветер, сорвал в саду массу уже пожелтевших листьев, и вслед за ним пролетели вкось капли дождя с редкими крупными градинами. Минуты две еще сквозь редкий дождь пруд и берег светились красно-опаловым светом... Это было очень красиво, и я невольно залюбовался, пока тополи, потом домишки и кузница на берегу, потом середина пруда не потонули в густом ливне... Лодочка на середине помаячила еще во мгле и исчезла... Ливень с градом загрохотал по нашему саду и крыше.

В доме поднялась суматоха... Тетка послала к берегу прислугу с зонтиками и калошами. Она волновалась... Мне показалось, что на ее половине я слышу еще чей-то голос, как будто Баси. Еврейка, всегда такая спокойная, теперь говорила что-то непривычно возбуж-

денно и сердито...

Я с нетерпением ждал у окна, что вся компания, мокрая и весело возбужденная, сейчас пробежит через сад в нашу квартиру. Но — прошло минут двадцать, лодка должна бы уже давно причалить к невидному из-за ограды берегу, а все никто не появлялся. Оказалось, что сестра уже дома, но одна, переодевается на женской половине.

— Где же остальные? — спросил я у нее, когда она вышла из своей комнаты.

— Как? Разве мальчиков еще нет? — спросила она в свою очередь. — Они через сад...

Сестра с детства привыкла называть всех нас мальчиками, хотя, кроме Фроима, мы уже второй год были студентами. Она была, очевидно, взволнована и нервна.

— Эта Бася с ума сошла, — заговорила она сердито. — Просто не понимаю, что с ней делалось...

— При чем же Бася? Разве Фрумочка была тоже с вами?

— Ну да, ну да... Бася прибежала на берег, как фурия, схватила ее за руку и прямо потащила домой. Никогда не подозревала, что она

может быть такой грубой...

Она повернулась к окну. Я подошел к ней и взял ее за руку. На глазах у нее были слезы.

— Слушай, Аня. Неужели на тебя так подействовала гроза?..

— Нет... Ну да, конечно, это было прямо ужасно. Дождь, град, у нас один только зонтик... Мальчишки сняли с себя тужурки и покрыли нас. Сами в одних рубашках... Потом этот гром... И... они такие мокрые...

Губы у нее задрожали, она сделала усилие над собой и потом все-таки заплакала.

— Аня, голубушка! Да разве это им впервые?.. Уверяю тебя, это пустяки.

— Ах, я знаю, что гроза пустяки... Но все это вместе... Знаешь: Фрумочка нам сказала, что вчера к ним привезли жениха и скоро будет ее свадьба...

— Как? Неужели это тот молодой ешиботник, что приехал вчера?

— Ну да, ну да! Приехал вчера... Фрума сама сказала...

— Ну, и что же она?

— Она?.. Я не заметила. Она еще совсем ребенок. Но вот Фроим. Он сразу побледнел, как

стена... Я никогда, никогда не забуду... Все потемнело... только это красное пламя. Фроим такой странный... Знаешь, я никогда до сих пор не замечала, какой у него сильный шрам над глазом... Ах, боже мой! Да где же они в самом деле? Или пошли к Дробышу? Но они говорили, что пройдут к тебе, затопят камин и станут сушиться... Смотри: туча уже ушла и светит солнце, но и оно какое-то другое, холодное... Точно и его охолодил град...

И она нервно вздрогнула. Я быстро надел калоши и вышел в сад, чтобы через забор взглянуть на лодочную пристань.

Пройдя половину аллеи, я вдруг остановился, удивленный. На скамье, весь мокрый, сидел Дробыш. Мокрая рубашка липла к его телу. Его тужурка вместе с тужуркой Фроима валялась тут же на скамье, а сам Фроим лежал ничком в мокрой траве.

— Что это вы? — спросил я, — с ума, что ли, посходили?..

— Да вот... спроси у него, — сказал Дробыш, пожимая плечами. — Уж именно, что сошел с ума.

Фроим поднял лицо из травы и посмотрел

на меня. Я был поражен переменой, происшедшей с ним в короткое время. Лицо его было бледно, черты обострились, и над бровью выступал сильно покрасневший шрам от падения на льду в тот день, когда мы сражались с кузнецами.

Взглянув на меня, он вдруг резко поднялся и схватил меня за руку.

— Ну, вот, — заговорил он страстно. — Вы мои товарищи, друзья. Дайте же мне слово... Дайте слово, что этого не будет... Не должно быть... И не будет...

Дробыш сидел молча со сдвинутыми бровями... Потом сказал, обращаясь ко мне:

— Совсем сумасшедший. Фрума сказала, что к ней привезли жениха. Вот он и требует, чтобы мы помешали этой свадьбе. Дай ему слово! Да пойми ты, чудак... Если дать слово, ведь его надо исполнить... А ты не даешь даже подумать...

— Вы подумаете после, а теперь закланитесь оба самую страшную клятвою... что этого не будет!

— А, черт возьми, — с досадой сказал Дробыш. — Приучили вас в хедере... Что тебе, —

«шейм гамфойрош»[5], что ли, нужно?.. Сам же ты над этими клятвами смеялся... Мы можем тебе дать слово, что мы... ну, сделаем все, что возможно... Слушай, Фроим. Ведь ты веришь, что мы тебе друзья? Веришь? Ну, так вот, что я тебе скажу, и честное слово, если ты сейчас же не пойдешь переодеться и не согреешься... я с тобой не буду иметь никакого дела... Понимаешь, — никакого! Значит, даже разговаривать о каких бы то ни было планах отказываюсь!

Фроим взглянул по-детски жалобно и сказал:

— Ну, хорошо. Ну, я послушаюсь... А после?

— После?.. Переоденься и приходи вот к нему! Сойдемся и подумаем, как быть...

— Ну, хорошо. Я приду. И вы мне обещаете?..

— Да, да, только убирайся поскорее. Да надень пиджак, сумасшедший!

Фроим спохватился, по привычке старательно напялил пиджак и пошел к выходу из сада.

— А я лучше обсушусь у тебя, — сказал Дробыш. — У тебя есть камин?..

— Да. Не лучше ли оставить и его?

— Нет, не надо. Там мамаша Мендель его обсушит и обогреет... А мы лучше потолкуем полчасика без него.

Через четверть часа в камине разгорелись щепки. Дробыш, переодетый, все-таки поеживался от озноба.

— Ну, если теперь я не схватил какую-нибудь чертовщину, значит, меня не берет.

Он взял в руки щипцы и стал задумчиво помешивать в камине.

— Знаешь, я до сих пор не знал этого чертенка Фроима. Сегодня мне вдруг припомнилась наша первая встреча, как он кинулся тогда на меня, — чисто тигренок! Теперь, когда Фрума сказала в лодке о том, что ее выдают замуж... И сказала-то как-то так просто... Будто даже не понимает, в чем дело... И только когда взглянула в лицо Фроима, то вдруг испугалась и заплакала... Чорт его знает... Электричество, что ли, перед грозой, странное освещение, этот удар грома, — только мне показалось, что на всех нас в лодке налетел какой-то нервный шквал.

— Да, сестра мне тоже говорила, что ей ста-

ло страшно.

— Ну да, конечно, это обстановка грозы. Но и, кроме того, еще, как бы сказать, — обстановка самого этого дела...

— Что ты хочешь сказать?

— Как ты думаешь: что это у Фроима — действительная любовь?..

— Возможно, но мне кажется, — скорее ребячество.

— Да, много ребячества, и еще неизвестно, во что бы это перешло... Но он серьезно думал обручиться с нею или даже повенчаться тотчас по окончании гимназии. И кажется, что родители это одобряли. Правда, ему еще рано, а она и совсем почти ребенок... Но у них это можно. Обвенчали бы, обрили бы у нее волосы, надели паричок... Он поехал бы себе в университет, а она росла бы здесь, считаясь его женой... А если бы не повенчались, — он уехал бы в Петербург, пожалуй, влюбился бы там, может быть, даже в христианку... Вообще, все бы пошло по-обычному.

— А теперь?

— А теперь, брат, я думаю, что это дело серьезное... Он опять помешал щипцами и

некоторое время неподвижными глазами смотрел на огонь.

— Видишь... Я тебе скажу правду. Мне было очень тяжело, когда... Ну, когда Маня и этот франт Зильберминц... Одним словом, ты понимаешь... Мне и теперь еще тяжело говорить об этом... И главное, — знаешь что... Самое тяжелое то, что... ее взяло у меня что-то чужое... Точно протянулась лапа из какого-то другого, не нашего мира и схватила существо самое мне дорогое... Стой, кто-то идет... Не Фроим ли?

Вошел не Фроим, а Израиль... Он остановился и вопросительным взглядом посмотрел на нас. На лице Дробыша, обыкновенно веселом и беспечном, он увидел непривычное выражение... Дробыш протянул руку и, усаживая его против камина, сказал:

— Садись и слушай. Тебе все равно тоже нужно знать. Только, брат, прости: я буду продолжать, а ты уж сам лови связь... Так вот, я и говорю: именно лапа из другого мира.

— Но ведь Фроим тоже еврей... Для него это не так уж мистически ужасно. Для Мани, например, ты сам был бы, может, лапой из

другого мира... — сказал я.

— Да, для Мани... может быть... Да, может. Она осталась еврейкой, и когда господин Зильберминц, с его смокингом и европейской внешностью, но с чисто еврейским вековым мирозерцанием, галантно протянул ей руку для жизненной кадрили, она согласилась легко и грациозно... Ты, брат Израиль, прости меня: мне было очень тяжело, пока я пришел к этому выводу, но... ведь Маня действительно была не наша... Ну, скажем, так же, как не наша была бы родная дочь телом и духом какого-нибудь Феррапонтьева, только с некоторым осложнением в оттенках... Ты меня понимаешь?

Израиль молча кивнул головой.

— Так вот, я и говорю: тут все было честно и благородно, — свободный выбор! А теперь, брат Срулик, мы будем говорить о Фроиме и Фруме... Ты уже знаешь. Да? Ну, так вот он тоже узнал там на пруду от Фрумы, что ее выдают за ешиботника... Он сразу так изменился в лице, что передо мной был совсем другой человек. Во всяком случае, другой Фроим, которого мы не знали.

— Я знал, — тихо сказал Израиль...

— И вот я думаю, что тут к ребяческой, может быть, любви прибавилось то самое, то есть лапа из другого мира. Ты говоришь: он еврей... Но, по-моему, он не еврей-Израиль опять кивнул головой.

— Я скажу больше: вот нас сейчас здесь трое: русский, поляк и еврей... Чувствуем ли мы какую-нибудь разницу, что-нибудь разделяющее наши миры?.. Ведь нет!.. Правда? И это оттого, что... Как бы это выяснить точнее... Спросим себя: много ли в нас осталось от национальной веры... Ну, хорошо. Допустим, что у вас кое-что осталось... Ну, там... Magnus Ignotus[6] и какой-то... алтарь неведомому богу... Но во всяком случае — это субстрат, нерастворимый осадок веры, без вкуса, запаха и цвета, без национальных особенностей... Так можно верить и здесь, и на Северном полюсе одинаково... По теории Дарвина... Нет, к чорту теорию Дарвина... Проще сказать: среди вечной борьбы биологических, национальных, социальных и всяческих форм — начинает зарождаться новый вид человека, новая национальность, что ли... Я бы

сказал: национальность общечеловека. Фроим — еще мальчик. Рассуждает он гораздо меньше нашего, но он инстинктивно — большой патриот этой новой национальности. Все мы относимся к другим, прежним национальностям — равнодушно, то есть терпимо. А заметили вы — с какою страстностью он высмеивает мирозерцание, характер, веру этого мира хедеров и ешиботов... И вот теперь из этого именно мира появляется ненавистная лапа и протягивается к этой девочке, которую он любит или... думает, чю любит... Понятно?

— Да, понятно, — сказал я, а Израиль опять утвердительно кивнул головой.

— Если бы вы увидели его там, на озере, как я, то вам не надо было бы и обОяснять. Ну... что же нам теперь делать? Мне кажется, что необходимо принять самые экстренные меры.

— То есть?

— Да... Вот мы все говорили, решали, спорили... В теории опрокидывали миры. Приходится несколько встряхнуть не весь мир, но... и это гораздо труднее: близкий нам вот этот маленький мирок... Необходимо вырвать у

них Фруму.

— Как?

— В том-то все дело: как?.. Времени было немного, но все же, пока этот сумасбродный мальчик держал и себя, и меня под дождем, — я думал об этом. Кажется, есть только одно средство.

Дробыш повернул свой стул и, усевшись спиной к камину, посмотрел на нас...

— Девочка примет православие. Израиль сделал невольное движение...

— Но ведь это должно быть добровольно...

— Ну, так что же? Мы уговорим Фруму.

— Уговорите?.. В две-три минуты? Если еще Бася допустит свидание. Нет, это будет насилие. Дробыш пожал плечами.

— А это, конечно, не будет насилие, если ее, без ее ведома... Да, конечно, без ведома, потому что без сознания, что с ней делают, отдадут за этого идиота.

— Он, наверное, совсем не идиот, — возразил Израиль спокойно.

— Ну, пусть он будет великий мудрец! Крайности сходятся, и мудрого талмудиста никак не отличишь от кретина... Во всяком

случае, ни она, ни мы не знаем точно: идиот он или мудрец. А ее отдадут за него раньше, чем сей вопрос будет разрешен. По-твоему, это не насилие? А! я знаю: вы оба опять, пожалуй, скажете, что я так просто решаю все вопросы, потому что у меня нет воображения... По-моему — воображение только мешает действию. Для действия нужна логика и бесстрашие. Ну, хорошо... Ну, я представляю себе: Бася придет в неистовство, ее присные закричат: «Гевулт!»

— Ты думаешь, — дело только в Басе и ее присных? — спросил Израиль.

— Нет, не в Басе и ее присных. Все евреи города тоже закричат «гевулт»... Служка из синагоги выскочит, пожалуй, на площадь, затрубит в

...[7] как в судный день... Город, как Иерихон, сотрясется в своих основаниях... Так, что ли?.. Нет? И этого мало? Хорошо, будем воображать дальше. Господин и госпожа Мендель... Мок отец, дворянин Дробыш, его вот дядя — статский советник и тетка... Одним словом, «отцы». Конечно, возмутятся, будут негодовать на дерзкую мальчишескую выход-

ку... Но, рассуждая о переворотам, вы разве думали, что все это можно сделать к общему удовольствию, что это не вызовет столкновения взглядов даже с близкими, с любимыми из старших поколений? Но тогда, — это вы лишены воображения, а не я. И вот, при первом приступе, можно сказать — репетиции в малом виде, вы уже боитесь. Своему воображению вы даете волю только задним ходом: вы так ясно видите неудобства при осуществлении того, что должно быть... Я вижу гнусность того, что есть... Воображение мое манит возможным успехом, а не пугает возможной неудачей. Уверен, что и у Фроима тоже. У него темперамент, несомненно, будущего революционера.

На некоторое время водворилось молчание. Потом Израиль сказал, обдумывая каждое слово:

— Слушай, Дробыш, что я тебе скажу. Ты верно указал на «новую нацию». Мы все зародыши этой нации... Но как ты думаешь: у этой нации есть своя вера?..

— А, — махнул рукой Дробыш. — Это будет что-нибудь от Спинозы, то есть «на городі бу-

зина»... Ей-богу, некогда пускаться в отвлеченности!

Но Израиль продолжал:

— У нее есть своя вера... Эта вера-свобода. Она не позволяет делать что-нибудь, нарушающее эту веру. Ты говоришь, что глядишь в будущее. Это хорошо. Но ты говоришь себе: будущее... оно будет, и делаешь вывод: настоящего уже нет. А оно есть, и оно еще живо, и оно страдает и болит... И оно имеет свои права, и эти права определяются не его, а нашей верой — в свободу!..

— Пока мы будем рассуждать о правах... наших противников, — нетерпеливо начал Дробыш, а я докончил;

— Скоро вернется Фроим.

— Ну, хорошо, — смиренно согласился Израиль. — Я буду говорить о деле... У нас, по еврейскому закону, есть одно правило. Если мужчина наденет кольцо на палец девушки и скажет: «Беру тебя в жены именем бога праотцев наших-Авраама, Исаака и Иакова...»

Дробыш вскочил на ноги.

— То она становится его женой без дальнейших формальностей? Ура, Израиль! Я что-

то слышал в таком роде... Ты это хочешь сказать?.. Да?..

— Я хочу сказать, что если удастся вызвать сюда Фруму, разОяснить ей все и спросить об ее согласии...

— Ну, ну, конечно, конечно! Разумеется, спросить о согласии!.. Я уверен, что она согласится. Вот он видел этого «соперника». Можно ли сомневаться, что она предпочтет нашего Фроима этому сопляку? Ура! Теперь я не боюсь, что Мне нечем встретить Фроима, когда он вернется.. Давайте обсуждать подробности...

Через четверть часа пришел Фроим. Лицо его было теперь красно. Глаза горели. Прямо с порога он заговорил:

— Ну что, придумали?.. Я говорил с матерью...

— Ну? И что же она? — с любопытством спросил Израиль.

Фроим махнул рукой, и глаза его гневно загорелись:

— Ничего! Она не может понять... В ней говорит самолюбие. Ее Фроиму предпочли ешиботника!.. «Чтобы Мендели искали у Эпштей-

нов». Одним словом — тут безнадежно. У отца тем более. С ним я и не говорил. Приходится действовать нам самим. Я придумал: мы украдем Фруму.

— Ну, не говори пустяков, — перебил Израиль... — Украдешь! И куда же ты денешь ее?..

— Мы примем православие и повенчаемся... Теперь глаза у Израиля загорелись, и в лице появилось выражение, какое я видел на площади в день приезда рабби Акивы. Но Дробыш перебил его:

— Разумеется, — в этом не было бы ничего ужасного. Один предрассудок заменить другим. Вот и все... Но слушай: Израиль придумал другое.

Когда Фроиму обОяснили план Израиля, он вдруг кинулся бурно обнимать брата, лицо которого оставалось при этом озабоченно и серьезно...

— Постой, сумасшедший, — сказал я. — Давай поговорим толком... Но ты, кажется, дрожишь? Хочешь, подкинем дров в камин?

— Да, что-то немного знобит... Хорошо, подкинь... — Его действительно передернуло мелкой дрожью, но тотчас же он заговорил

радостно: — Ну, наше дело в шляпе... Вызовем сейчас Фруму...

— Постой, надо все-таки приготовиться. Нужны свидетели... Кольцо... Прежде всего вызовем сюда Аню...

Я вышел и через минуту вернулся с Аней. Входя, она с тревогой и любопытством поглядела на нас. Дробыш рассказал ей, в чем дело, и спросил:

— Согласны вы помочь нам, Аня? Аня задумалась.

— Мне так жаль Фруму и...-Она посмотрела на Фроима и прибавила:-Да, я согласна... Но... как же это?.. Надо сказать маме...

— Ни слова никому! Вы сейчас пойдете к Басе под предлогом справиться о здоровье Фрумы после грозы... Бася, конечно, не помещает вашему свиданию. И вы передадите Фруме записочку... Чтобы она как-нибудь урвалась и прибежала к вам завтра...

— Завтра... мои именины. Не надо и записки. Можно сказать при Басе...

— Ну, и отлично...

— Фруму надо предупредить?..

— Не надо, — быстро сказал Фроим. —

Пусть только придет...

Сестра ушла и через полчаса вернулась. Она была задумчива и озабочена.

— Видели? — кинулся к ней Фроим.

— Да, видела... И напоямила о дне рождения. Бася немного помялась, но все-таки согласилась отпустить. Ей, кажется, совестно за ее грубость... И «этого» тоже видела, в другой комнате. Бася лебезит перед ним, а он точно никого не видит, Фруму тоже не видит, а она смотрит на него со страхом, точно это бука...

— Ну, значит, все отлично, — сказал Фроим, потирая руки, а Дробыш спросил:

— Вы хотите сказать еще что-то, Аня?..

— Нет, ничего... Только, это так страшно...

— Ну, разумеется, страшно. Но не бойтесь, — мы этого не допустим, — сказал Дробыш.

— Нет, я не об этом... Вообще страшно... вс+-, вс+-... и мне кажется, право... она не согласится...

— Ну, какие пустяки!.. Неужто предпочтет этого меламеда?

— Нет, конечно... Но и это тоже страшно...

На следующий день около полудня у нас

стали собираться гости. Пришли поздравить г-н и г-жа Мендель, г-да Фаворские, г-да Ивановы, г-да Сапоженские, вообще знакомые. Дамы поздравляли тетку, целовали Аню, ели торты и пили за здоровье. Целый цветничок барышень окружал Аню.

Пришла, наконец, и Фрума...

Мужчин было мало: день был будничным, все были в канцеляриях и вообще на работе. Были, конечно, оба брата Мендель и Дробыш... Мы переглядывались и нервничали. Аня была рассеянна и порой отвечала невпопад. В молодом обществе царствовала какая-то непонятная неловкость, которая передавалась и старшим.

Кто-то заговорил о Басе и о сватовстве, не замечая Фруму. Г-жа Мендель покраснела, и ее доброе красивое лицо приняло несвойственное ей выражение упрямой суровости. Г-н Мендель, глядя как-то в сторону, поглаживал снизу и сверху курчавую бороду... Тетка быстро перевела разговор, но этот инцидент внес еще большую неловкость... Дамы начали подыматься, чтобы уходить. Тетка была огорчена, чувствуя, что «именины» решительно

не удались, и не знала, чем объяснить эту неудачу. Фрума тоже сказала, что отпущена ненадолго. Лицо ее было как-то не по-детски печально, и она смущалась любопытными взглядами, которые на нее кидали девушки и дамы.

— Я пойду уже, — сказала она тихо, подходя к сестре. — А то бабушка будет сердиться и пришлет за мной...

Фроим, сидевший в углу с лицом то бледневшим, то красневшим, резко поднялся. Но Аня сжала Фруму за руку, что-то шепнула ей и, подойдя ко мне, сказала:

— Идите в сад, к беседке. Я приведу Фрумочку. А что же Фриденсон и Гершович?.. Не пришли?..

Фриденсон и Гершович были два студента, обещавшие явиться в качестве свидетелей. Это были сыновья местных богачей, и мы выбрали их нарочно, считая, что их свидетельское будет иметь большую силу. К нашему кружку они не принадлежали, но оба были под некоторым обаянием обоих Менделей, особенно Фроима, и согласились участвовать в заговоре, с условием, что потом, когда дело

дойдет до подтверждения свидетельства, — они заявят, что были при этом случайными именинными гостями...

Теперь их не было. Но когда мы вышли в сад, — Гершович явился. Это был молодой человек с очень белым и очень розовым лицом, с медлительными и медвежеватыми движениями. Теперь он шел особенно медленными шагами и смутился, узнав, что Фриденсона нет... Казалось, если бы было возможно, он бы охотно сбежал.

Дробыш был весел, Израиль по обыкновению молчалив и серьезен, Фроим сильно нервничал. Все мы сидели в беседке и нетерпеливо ждали.

Наконец в конце аллеи со стороны дома замелькали платья. Сестра быстро вела за руку Фруму, которая оглядывалась с некоторым недоумением. Ее круглые детские глаза, когда они подошли к нам, были как-то трогательно испуганы и беспомощны.

— Там за Фрумой уже пришли, — торопливо сказала Аня, — Бася приказала придти сейчас же... Значит...

Она остановилась и перевела дух. Видно

было, что она сильно взволнована. Фрума посмотрела на нее с ожиданием! и вопросом. Потом она обвела всех нас тем же вопросительным взглядом, едва скользнула по фигуре Фроима и дольше остановилась на лице Израиля, который смотрел на нее с особенным выражением какого-то особенного мудрого и понимающего участия...

Фроим подошел к ней и заговорил:

— Слушай, Фрумочка... Надо бы обОяснить тебе... но времени у нас мало... Ты мне веришь? Ты знаешь, что я тебе не желаю зла... Веришь нам всем, что то, что мы хотим сделать, — хорошо...

Он провел рукой по лицу, как будто что-то старался стряхнуть с себя, и, посмотрев на Дробыша беспомощным взглядом, сказал:

— Я чувствую что-то... я не могу все... ясно. ОбОясни ты...

В это время от дома с заднего крыльца, которое вело на кухню, послышался голос:

— Фрумэ-э... Ком а ги-ир...[8] — Кричавшая прибавила что-то еще по-еврейски. Можно было понять, что прислуга Баси получила какие-то решительные инструкции и готова пу-

ститься тотчас же на поиски. Фрума вздрогнула и двинулась было на зов. Но Аня обняла ее за талию и нежно удержала на месте. Девочка прижалась к ней, и ее круглые глаза опять посмотрели на всех с испугом и вопросом.

— Фрумэ-э... — слышалось опять от крыльца. Дробыш решительно подошел к Фруме и взял ее за руку.

— Вот что, милая Фрумочка. Сейчас Фроим подойдет к вам... Иди сюда, Фроим... И наде-нет вам на пальчик вот это кольцо... Дайте сюда палец. Фроим, иди же сюда... Ну, вот... Тогда вас уже не выдадут за этого противного цадика. Вы будете женой Фроима... Дайте руку...

— Фру-у-мэ-э!.. — Голос звучал уже ближе... и наводил на всех нервную торопливость.

— Да что ты это, Фроим! Шевелись скорее. У тебя дрожат руки. Ну, дай сюда... На кото-рый палец?.. Все равно? Ну, вот так... Фроим, говори скорее, что надо...

— Фру-умэ... — Голос был совсем близко. На боковой тропинке уже мелькало меж ку-стов красное платье толстой служанки...

Фроим торопливо шагнул к девочке и ска-

зал:

Лицо его было теперь очень бледно, шрам над глазом горел багровым цветом. Фрумочка, взглянув ему в лицо, вдруг вскрикнула: "Вай!.. Их....[9] Боюсь! Боюсь!.." и, вырвав у Дробыша руку, на которую он надевал кольцо, вдруг повернулась и побежала через кусты навстречу служанке... Через минуту из кустов послышался резкий, почти исступленный голос служанки... Я узнал могучее контральто, почти бас, оглашавший площадь в день приезда Акивы. Таца за собою Фрумочку, разОяренная баба вышла из кустов к нам на площадку и стала быстро и сердито говорить по-еврейски...

Дробыш выступил ей навстречу и сказал:

— Ну....[10], ладно. Не кричи, пожалуйста. «Гей цур балабусте...»[11] Скажи, что Фрума повенчалась с Фроимом... Да смотри, не ори во весь голос... Не поможет.

Женщина, только тут понявшая, в чем дело, сначала прямо окаменела с открытым ртом, потом хотела, очевидно, разразиться криком и ругательствами, но Дробыш зажал ей рот, а Израиль подошел к ней совсем близ-

ко и сказал своим убедительным голосом по-еврейски:

— Слушай, женщина! Не надо кричать. Ступай к своей хозяйке и расскажи ей первой. Пусть посмотрит кольцо на руке Фрумы... Если она захочет, чтобы ты выскочила на площадь и принялась кричать об этом... Тогда...

— Тогда хоть надорви глотку, нам все равно, — закончил Дробыш, немного понимавший, как и я, местный еврейский жаргон.

Повидимому, служанка поняла. Она крепко стиснула руку Фрумы, и скоро обе фигуры исчезли на заросшей тропинке...

— Теперь, брат, ау! Кончено. Но что это с тобой, Фроим? Ты как вареный: не мог сам надеть кольцо. Постой, дай руку! Да у тебя жар... Ступай скорее домой и ляг в постель. Отведи его, Израиль, и позови доктора. Ну, ступай, Фроим. Не беспокойся. Дело все-таки сделано.

— Да, — подтвердил Израиль. — Дело сделано... Ты ведь знаешь, Фроим. Если Бася упрется — она может вынудить развод. Но Эпштейн — коган... Ему нельзя жениться на разводе... Значит, во всяком случае Фрума от этого брака избавлена.

Фроим радостно улыбнулся, и оба брата пошли к дому. Израиль с ласковой заботой обнял его за талию и говорил что-то, наклоняясь к нему.

— А где же еще наши? — спросил Фроим, оглядываясь. — А, вот они в беседке.

Действительно, Аня и Гершович были в беседке. Аня наклонилась к столу и плакала. Гершович, далеко не такой румяный, как обычно, смотрел на нее с глуповатым смущением. Оказалось, что он убежал в беседку при приближении служанки. Дробыш, к которому вернулась его беспечная уверенность, стал шутить над ним, и ему удалось успокоить Аню. Вид толстого Гершовича, боявшегося, что он попал в schlechtes Geschäft[12], был действительно очень комичен.

Мы решили вернуться в дом, где, быть может, были новые посетители.

— Каша заварена, — сказал весело Дробыш. — Дальше все пойдет уже естественным ходом. Нам больше делать нечего...

Вдруг он быстро наклонился к земле и поднял что-то в песке. Теперь лицо его тоже вытянулось и напоминало отчасти лицо Гершо-

вича.

В руке у него было золотое колечко...

— Бросила, значит... Или я не надел?.. — Он смотрел на маленькое колечко с комическим недоумением.

Нам, впрочем, было не до смеха, и мы пошли к дому, опечаленные и смущенные...

На следующий день мы узнали, что Фроим лежит в бреду...

Бася была женщина умная. Ни на другой день, ни в следующие дни, — никто в городе не говорил ничего об истории с импровизированным бракосочетанием. А еще через некоторое время она, как ни в чем не бывало, явилась к тетке с своим узлом. Тетка была ей рада. Бася спокойно развешивала ткани, спокойно торговалась, и только, когда я вошел в комнату, ее глаза сверкнули особенным блеском.

— Здравствуйте, Бася, — сказал я, немного смущенный.

— Дай бог и вам здоровья, — ответила она и, обернувшись к тетке, сказала: — Я всегда говорю: это — счастье иметь таких детей. Чистое золото, как я еврейка!.. Ну, что, если он

не сын, а только племянник... Хорошо иметь и такого племянника... А где же барышня?.. Учится?.. В своей комнате?.. Бася кинула быстрый взгляд по направлению соседней комнаты сестры, дверь которой была не вполне притворена, и спросила с любопытством: — А кто ее учит? У нее несколько учителей?.. Так. Хочет сдавать экзамен? Хорошее дело... Только зачем барышне держать экзамен? Барышне надо жениха. А теперь вот?.. Сейчас... кто ее учит?.. Господин Дробыш?.. Ну, я видела, что к вам шел господин Дробыш. И подумала себе: зачем господин Дробыш идет так рано? Ну, он оч-чень умный, этот Дробыш. Вай! Вай! Правда?

Предлагая этот вопрос, она внимательно посмотрела на тетку, которая спокойно рассматривала товары и теперь с легким удивлением подняла взгляд на Басю. Умная еврейка поняла, что тетка ничего не знает. Она перевела иронический взгляд своих молодых глаз... Я сильно покраснел.

— Господин Дробыш оч-чень умный... Он приятель такого хорошего молодого панича... Ну, а известное дело: скажи, с кем ты прия-

тель, — я уже знаю, кто ты сам. Он учит вашу барышню... Цц-ццы, оды... Такая прекрасная барышня, почти невеста... Надо хорошего учителя...

— Что вы это, Бася, — заинтересовалась вдруг тетка. — К чему вы все это говорите?..

— Ну, надо о чем-нибудь говорить... Люди любят иногда послушать Басю. Бася знает много любопытных историй. Вот, знаете, какая недавно была любопытная история в одном городе? Это даже недалеко от нас. Мм-мм-мм... Вы, может, уже слышали ее. Нет? Не слышали, как один ширлатан хотел жениться на одной еврейской девочке... Ну, он себе был тоже еврей... Вот, как Фроим...

— Бася... Фроим не шарлатан, — сказал я, чувствуя, что лицо мое загорелось от негодования.

— Ну-у... как это можно, я говорю только, что он был такой же... ему было столько же лет... Ну, и он захотел жениться... А ему не хотели отдать. И эта девочка тоже не хотела. Так вы знаете, что он сделал? У него был приятель, тоже ширлатан порядочный, как вот Дробыш. Что-о? Я говорю, что Дробыш ширла-

тан?.. Боже сохрани, говорить, что господин Дробыш ширлатан. У него такой отец... Вай, вай... Ну, только ему было столько же лет... И он был студент... И они придумали. Ой, что они приду — ма-а-ли!

Она покачала головой и посмотрела на меня, лукаво улыбаясь.

— Эта девочка пришла себе в гости к очень хорошим людям. И у них была такая хорошая барышня! Она, конечно, ничего не знала, что задумали эти ширлатаны. Она ходит себе в саду с этой еврейской приятельницей, и они себе так хорошо разговаривают... ну, о разных вещах. Мало ли есть о чем поговорить молоденьким барышням! А эта девочка, хоть и еврейка, но она была *feines Fraulein*[13], совсем-таки барышня. И вот, подумайте. Вдруг подскакивает к ним из кустов этот ширлатан, этот шейгец, этот шибеник и хочет надеть кольцо и сказать одно слово... Ну, такое слово, такое слово... что после этого девушка станет все равно, что его жена... Может, вам совсем нелюбопытно слушать эту историю? — вдруг спросила она, поворачиваясь к тетке, которая слушала, наоборот, с величайшим

интересом.

— Вы говорите, — любопытно? Ну, хорошо... Так я буду рассказывать до конца... Я говорю, что он выскочил из кустов... И с ним этот другой ширлатан, который похож на господина Дробыша... И они говорят этой девочке:

«Дай сюда руку. Скорей, скорей». Ну, она разве понимает, какие у него мысли, и она дает руку... Тогда тот, другой ширлатан говорит: «Что ты такой неловкий, не умеешь надеть на барышню кольцо. Давай сюда... Я надену. А ты себе говори слово...» И он надевает кольцо, а тот сказал слово... А я еще не сказала, что у этой девушки был другой жених. О, какой это жених! Это счастье иметь такого жениха... Ученый...

— Ну уж, Бася. У вас все ученые женихи хороши, — сказала тетка, улыбнувшись.

— И, наверное, девушка не любила этого ученого сопляка, — вставил я шпильку, чтобы отомстить Басе за иронию.

— Ну, что вы думаете? Только гимназическая наука хороша? А наша ничего не стоит? А вы, молодой господин, говорите: «Не люби-

ла»?.. Ну, где это сказано, что невеста должна раньше полюбить, а потом повенчаться? Когда же это должно быть совсем наоборот! Разве Ривке видела Исаака раньше, чем вышла замуж? Вы знаете, — у нас невесте закрывают лицо. Зачем? Затем — ей незачем смотреть на жениха до свадьбы... Яков разве не женился на Лии, когда он думал, что это Ривка?.. Вы говорите: это плохо... А мы считаем, что это очень хорошо. Разве глупая девочка может выбрать?.. Что она знает? Она ничего не знает... Бог знает лучше.

— Ну, Бася. Эти, извините, глупости мы уже от вас слышали... И нам так жаль вашу Фрумочку. Бога вы не боитесь. Погубите девочку... Потом будет вас проклипать...

Бася опять пытливо посмотрела на тетку и продолжала:

— Проклипать? Почему же я не проклинаю моего отца? Вот аккуратно также думали и они. Они думали: «Мы больше знаем, чем бог...» И потому этот ширлатан хотел устроить всю историю. И надо вам сказать...

В это время дверь отворилась, и из комнаты сестры вышел Дробыш. Его лицо с буйным

русым вихром над лбом было, как всегда, беззаботно весело... Он любезно поклонился и сказал, улыбаясь:

— Имею честь кланяться madame Басе... Мы тут занимались и невольно слышим, что вы рассказываете. Я тоже немного знаю об этой интересной истории. И знаете, что мне сказали об ней умные евреи?..

В глазах Баси на мгновение сверкнула гневная искорка, но тотчас же они опять загорелись веселым задором.

— Ну, что они могли сказать?.. Это, верно, господин Мендель... Он очень, очень умный, этот Мендель. Что же такое он говорит?

Брови Дробыша чуть-чуть сдвинулись.

— Господин Мендель даже еще не слышал ничего об этой истории, — сказал Дробыш серьезно и с оттенком неудовольствия... — Вы думаете, во всем городе только господин Мендель умный еврей? Есть еще очень много умных евреев... И в нашем городе, и приезжих, хотя бы из Бердичева, или Гомеля, или Шклова.

— Ну, и что они говорили вам, ваши умные евреи?

— Они говорят, что если жених надел кольцо...

— Ну, а если он не надел кольца?..

— Все равно. Можно и не надеть непременно на палец... Можно просто дать кольцо или вещь, не дешевле одной перуты...

— Дать... Ну, а если она не взяла?.. Если кольцо просто упало на землю?..

— Ну, это еще вопрос, упало или не упало. И еще надо знать: упало оно ближе к нему или к ней?.. Если он успел дать его в руки, когда говорились слова, тогда — кончено. После этого надо непременно развод... А если тот жених — коган, из колена Левита, то ему (вы знаете?) нельзя жениться на разводке...

И Дробыш, улыбаясь, посмотрел на Басю...

— И это все, что они вам говорили, эти умные евреи? Дробыш взмахнул несколько раз золотым пенсне на шнурке и сказал беспечно, чуть-чуть растягивая слова на еврейский лад:

— Ну-у?.. А что вы хотели бы еще...

Бася посмотрела на него и вдруг на ее лице заискрился такой веселый смех, что Дробыш несколько оторопел...

— Ну, они, видно, очень умные, ваши евреи. Пусть они будут такие умные, как Мендель. А все-таки они не знают...

— Чего же?

— Ну... — Бася прищурила глаз и лукаво посмотрела на молодого человека. Ну, я вам скажу... Этот господин, который похож на вас... он очень умный, ух, какой умный... Только еще не очень... Зачем он сам надевал кольцо?.. Закон такой... Ну, это правда: если еврей даст девушке кольцо или что-нибудь ценное и скажет такое-то слово... Вы знаете?.. Ну, она ему жена... А если гой даст что-нибудь, а еврей скажет слово... Кто же будет муж?.. Этот гой будет муж?..

Она посмотрела на него своими красивыми глазами и вдруг залилась молодым смехом... По выразительному лицу Дробыша прошла тень озабоченности и недоумения... Оно очень напоминало то выражение, с каким он подымался в детстве с цветочной клумбы, на которую его кинул Фроим...

Бася продолжала хохотать. Тетка с недоумением смотрела на происходящее, понимая, что тут не отвлеченный спор, но еще не

отдавая себе полного отчета в происходящем [14].

Отрывок из рукописи «МЕТАМОРФОЗА»

В доме Менделей было печально... Любимец сын лежал больной, и торжество всего города как бы злорадно тяготело над их квартирой.

И вот в один день улицы нашего городка огласились оригинальными звуками своеобразного оркестра. В те времена еврейская жизнь еще не замкнулась в стенах домов и синагог, как теперь; евреи охотно совершали свои обряды на виду у города, и нам часто случалось видеть еврейские свадьбы... Самый обряд совершался на площади, перед синагогой. Молодые стояли под балдахином, и, когда раввин подносил им вино, — все головы тянулись, чтобы увидеть, как молодой растопчет рюмку... Потом процессия проходила по улицам в сопровождении огромной толпы, в сопровождении музыкантов. Оркестр состоял из одних флейт, волторн и кларнетов, и мотив был какой-то особенный: немного дикий,

то оживленный, то тягучий и хватающий за сердце неведомой тоской... Старой такой, щемящей, занесенной бог весть из каких стран и времен... Медленно, размеренно, торжественно и печально переливались на высоких нотах флейты. Гобои вторили низко и глухо, и над всем стоял густой топот толпы... А в самом центре этой толпы, чуть мелькая среди моря голов, виднелось смуглое лицо Басиной внучки и рядом, поддерживаемый под руки, нетвердый на ногах, «как травинка», выступал молодой человек с нездоровым бледным лицом и длинными пейсами. Казалось, он совсем не участвует сознанием в происходящем и обдумывает какое-то запутанное воззрение рабби Шамаи или...

Звуки оркестра стихли где-то далеко...

По невольному побуждению, я пошел к дому Менделей. Симхе[15] было лучше, и товарищам позволяли посещать его, хотя ненадолго. В квартире Менделей было сумрачно и тихо. Окна были закрыты ставнями. Г-н Мендель вышел ко мне задумчивый и как будто растерянный. Израиль горячо пожал мне руку и провел к больному.

Г-жа Мендель вошла в комнату на цыпочках, и мне казалось, что она озабочена и испугана. Я успел только поздороваться с Симхой, как пришел доктор. Это был маленький человечек в золотых очках, с подпрыгивающей, будто танцующей походкой. Он спросил о здоровье развязно, с той деланной свободой, какой доктора стараются внести в комнату больного уверенность и бодрость. Но маленькие глазки за золотыми очками бегали вопросительно и тревожно... Вообще в доме Менделей чувствовалась тревога и напряжение...

Когда я вышел из квартиры, над крышами уже угас закат и стояла яркая звезда, которую не затмило даже сияние поднимающейся луны... Этот вечер с темными очертаниями крыш и синевой, пронизанной золотистым сиянием, навсегда остался у меня в памяти. И всегда мне кажется, что это был почему-то особенный, еврейский вечер... Может быть, потому, что как только за мной закрылась дверь Менделей, до моего слуха опять донеслись звуки флейт и кларнетов. Процессия возвращалась и, очевидно, должна была пройти

мимо дома Менделей... Вскоре из-за дальнего угла показалась темная толпа и влилась в улицу... На крыльцо вышел встревоженный доктор и за ним Израиль. Они пошли навстречу процессии, а я стал смотреть им вслед. Вероятно, они хотят остановить шествие. Удастся это или не удастся?.. Толпа росла, выступала из темноты, над нею в центре сверкал балдахин, освещенный факелами. Свет месяца смешивался с огнями, и странная музыка звучала все ближе со своими яркими переживаниями, от пестрого веселья к застарелой тоске...

Израиль поднялся ко мне на крыльцо и сильно сжал мне руку. Остановить процессию и повернуть ее в переулок, очевидно, не удалось...

Оркестр все ближе, топот все сильнее, и вскоре все это полилось мимо нашего крыльца, неудержимое и равнодушное, как море... И в центре этих звуков и этого движения я увидел нашу частую гостью, Басину внучку. Девушка, почти девочка, шла тихо, с опущенной головой. Но я не видел на ее лице никакого особенного выражения. Мимо дома Менде-

лей она шла, не замечая, как и мимо других домов. Жених спотыкался и по временам подымал голову. Факел осветил его лицо, и мне показалось, что его глаза выразительны и красивы. Но в них не было никакого внимания к тому, что происходит кругом... Когда центр процессии прошел мимо, — кругом яснее выступил живой многоголосый говор толпы. Было заметно, что евреи поднимают с любопытством глаза на закрытые ставни дома Менделей и обмениваются замечаниями... И чувствовалось что-то злорадное и торжествующее...

Я был взволнован. Мне казалось, что это какая-то темная сила несется, неумолимая и равнодушная, хороня под собой еще не расцветшую жизнь нашей маленькой знакомки...

Из поредевшей толпы поднялся к нам на крыльцо Дробыш.

— Ну, что? Хорошо? — спросил он таким тоном, точно мы были виноваты во всем.

Израиль посмотрел на него серьезно и сказал:

— Все-таки так лучше...

ПРИМЕЧАНИЯ

Рассказ был начат Короленко в 1915 году. В письме к А. Г. Горнфельду 23 ноября 1915 года Короленко пишет о своей работе: "Работаю «медленно», но «неуклонно». Три листа уже готовы.

Еще остается вторая часть, листов около 2.5, но я сочту готовым, когда поставлю последнюю точку Все-таки вполне на себя положить, чтобы, например, сдать первую часть, не окончив второй, не могу Нужно закончить хотя бы вчерне (первая часть уже отделана) Надеюсь, что в январе первая уже появится (но только надеюсь)" Короленко рассчитывал печатать «Братья Мендель» в журнале «Русское богатство», в котором А. Г. Горнфельд являлся членом редакции. Внезапная смерть брата, Иллариона Галактионовича, прервала работу Короленко. После похорон брата Короленко сильно заболел, причем здоровье его восстанавливалось плохо. «Мечтаю о возможности опять взяться за продолжение

прерванной сначала смертью Иллариона, а потом болезнью, работы, а тут и еще надвигаются темы. То и дело зовут к участию то в том, то в другом очередном сборнике...» — писал Короленко своему другу В. Н. Григорьеву 16 февраля 1916 года. Работа над рассказом «Братья Мендель» так и не возобновилась, хотя Короленко неоднократно пытался вернуться к ней.

В архиве Короленко имеются две рукописи этого рассказа: одна озаглавлена «Метаморфоза», вторая — «Братья Мендель» «Метаморфоза» является первым черновиком, действие в котором продвинуто несколько дальше, чем в «Братьях Мендель» — втором, более обработанном варианте рассказа, о котором автор писал Горнфельду: «первая часть уже отделана». По воспоминаниям жены писателя, в рассказе должна была происходить дальнейшая эволюция в характерах двух братьев Мендель: старший, Израиль, превращается в мыслителя-революционера, а младший — Фроим, изменяет своим прежним убеждениям, увлекается «верой отцов», к которой так пренебрежительно относился в юности. На это указы-

вает и первоначальное заглавие — «Метаморфоза».

В настоящем издании рукопись «Братья Мендель» печатается полностью, и в качестве дополнения к ней даны несколько последних страниц из рукописи «Метаморфоза». В рукописи «Братья Мендель» имя сестры рассказчика несколько раз изменяется: Аня, Лена и Маня. В настоящем издании сохранено одно имя — Аня.

Прочтя XXII том посмертного собрания сочинений Короленко (Государственное издательство Украины, 1927), в котором были опубликованы оставшиеся в архиве писателя незаконченные произведения, А. М. Горький писал 10 июля 1927 года Евдокии Семеновне Короленко, вдове писателя: «XXII том я читал с наслаждением и — с грустью. С грустью, не только о том, что нет уже человека, который мог писать такие вещи, как „Талант“ и „Братья Мендель“, но и о том, что, отдавая свои силы художника борьбе за справедливость и против бытового зверства, он не дописал этих вещей. Изумительна и поучительна была в нем добросовестность художника! Меня осо-

бенно, разумеется, удивила и заинтересовала тема „таланта“ — глубокая и трудная тема, ее у нас в литературе никто не касался. Превосходно по четкости, по пластике и мудрой простоте начаты „Братья Мендель“. Похоже на старых французских мастеров, как Проспер Мериме...»

По воспоминаниям сестры писателя, Марии Галактионовны Лошкаревой, в действующих лицах рассказа Короленко отразил черты ряда своих знакомых по ровенскому периоду жизни. Так, например, в Басе Мария Галактионовна узнала старинную знакомую их семьи — Иту Сухарчук, с которой у Короленко была переписка и много лет спустя после отъезда из Ровно.

Стр. 400. Меламед — учитель еврейской духовной школы.

«...соответственную тосефту» — соответствующую выдержку из талмуда.

Треф — еда, запрещенная еврейским законом.

«...ни шему, ни тефилы» — ни вечерней, ни утренней молитвы. (Прим. OCR-щика:

Ошибка. Шма и Тфила — обязательные части как утренней так и вечерней молитвы. Видимо имелось в виду: «не пропускает ничего сверх Шма и Тфила»)

Стр. 401. Талес, тфилим — молитвенное облачение для мужчин.

Стр. 402. Агада-часть талмуда, излагающая легенды из древней истории еврейского народа.

Стр. 411. Цадик (др.-евр. — праведник) — у набожных евреев — духовный наставник, которому приписывается особая чудодейственная сила.

Стр. 428. Амгаарец — невежда.

«...земля поглотит меня, как Корея». — Корея (правильнее Корах) согласно библейскому сказанию восстал против пророка Моисея, за что был наказан богом: под ним и прикнувшими к нему вождями мятежа разверзлась земля и поглотила их.

Стр. 429. «Записки еврея» — книга писателя Г. Богрова «Записки еврея» была издана в Петербурге в 1874 году.

Стр. 431. Хусид (др.-евр. — благочестивый) — так назывались последователи рели-

гиозно-мистической секты, возникшей в начале XVIII века в Подолии.

Мезузе — нечто вроде талисмана, предохраняющего дом от возможных бед.

Стр. 433. Апикойрес — человек, нарушающий религиозные законы; вольнодумец.

Стр. 435. «Блажен, кто с молодости был молод» — первая строка X строфы восьмой главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

«... проклятый Пфефферкорн» — Иоганн Пфефферкорн — немецко-латинский писатель XVI века, ярый реакционер. Ему удалось выхлопотать у императора Максимилиана указ, в силу которого у евреев должны были быть отобраны и затем сожжены все их книги, за исключением библии.

Стр. 442. Ешиботник — учащийся в ешиботе — высшем еврейском духовном училище.

Стр. 454. Коган (коен — первосвященник) — каста у древних евреев, потомки которой должны были в быту руководствоваться правилами, существовавшими для духовных лиц.

Примечания

Иноверец, не-еврей (евр.)

[^^^]

2

Как важная дама (франц.)

[^^^]

Что это такое? (евр.)

[^^^]

Сумасшедший (евр.)

[^^^]

Именем бога (евр.)

[^^^]

6

Великий неизвестный (лат.)

[^^^]

Пропуск в рукописи. (Прим. ред.)

[^^^]

Фрума... Иди сюда (евр.)

[^^^]

Пропуск в рукописи. (Прим. ред.)

[^^^]

Пропуск в рукописи. (Прим. ред.)

[^^^]

Иди к хозяйке (евр.)

[^^^]

Плохое дело (нем.)

[^^^]

Благородная девушка (нем.)

[^^^]

На этом рукопись обрывается. (Прим ред.)

[^^^]

В рукописи «Братья Мендель» — Фроим.
(Прим. ред.)

[^^^]